

Николай
НАСЕДКИН

ГОРОД



БАРАНОВ

Криминальный роман



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Николай Николаевич Наседкин

Город Баранов.

Криминальный роман

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48415820

SelfPub; 2022

Аннотация

Этот роман выделяется в потоке современной прозы. С одной стороны, криминальная фабула, с другой – психология в содержании и образах героев; вроде бы классический реализм, но и некоторая фантастичность сюжета («ботаник» сумел выстоять в смертельной схватке с мафиози). Здесь заметно влияние Достоевского, его «фантастического реализма». Уникальна заключительная часть «Города Баранова» – авторский комментарий к роману. Такого в литературе ещё не было. Впервые эта книга была издана в «АСТ» под названием «Алкаш». Содержит нецензурную брань.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
Глава I	5
Глава II	26
Глава III	60
Глава IV	93
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	130
Глава I	130
Глава II	158
Глава III	183
Глава IV	213
Конец ознакомительного фрагмента.	230

Николай Наседкин

Город Баранов.

Криминальный роман

От автора

*Всё, что написано далее – плод авторского воображения.
Любые совпадения с действительностью —
событий, дат, имён, фамилий и пр. – чистая случай-
ность.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I **Как я очнулся**

1

Говорю сразу: я не боюсь ни Бога, ни чёрта. Пока я жив – меня не запугаешь, не согнёшь, не сломишь. Ну, а после смерти...

Вот то-то и оно: после смерти человек становится беспомощным, беззащитным – любая сволочь может облить труп его грязью и сплясать на костях его похабный топтательный танец буги-вуги. Это тем более вероятно, если у человека – как это случилось со мной – ни единой родной души рядом. Один как перст – это про меня. Точнее не скажешь.

При жизни стать совсем свободным и абсолютно бесстрашным вовсе ведь не трудно. И не надо для этого сходить

с ума, колоться всякой дрянью или постоянно накачивать себя спиртной отравой. Правда, сам я долгие годы прибегал именно к такому лёгкому и примитивному способу обретения свободы. Нет, крыша у меня, слава Богу, стояла и стоит на месте, наркота мне всегда была не по карману, да и изначально как-то, подспудно не тянуло меня к этой заморской мерзости. А вот змеичишко зелёный укусил таки меня крепенько, отравил-размягчил разум сладким ядом-дурманом, обвил жёстко своим цепким мускулистым хвостом.

Да, свобода была. Вернее – ощущение свободы, иллюзия. Бывало заглотишь с утра стакан водяры, добавишь к обеду второй, да вечером ещё два-три и – сам чёрт тебе не брат и Бог не товарищ. Однако ж...

Когда я очнулся полностью и совсем, я не имел уже молодости, кисти левой руки, семьи, того, что называют репутацией, и хотя бы мало-мальски обустроенного быта. Зато я имел: довольно измождённое и в сорок с небольшим уже морщинистое лицо, усталый равнодушный взгляд, раннюю седину, расхристанную нервную систему, сотрясение мозга, ослабленное зрение, гастрит, колит, цистит и простатит, подозрение на цирроз печени плюс хронический *воспалецит* души, не говоря уже об остеохондрозе, сколиозе, перхоти и похмельной трясучке рук...

Однажды утром я поглядел на себя – такого – как бы со стороны, и в мозг мой воспалённый воткнулась ядовитая игла-мысль: *так жить нельзя!* Станислав Говорухин про всю

страну и на всю страну нашу гибнущую это прокричал, я же про себя и себе только, но – мысль была не менее оглушительной. Я вдруг понял, что я – не живу. Я даже – не существую. Я просто-напросто – прозябаю. Я превратился в амёбу, в тифельку одноклеточную, плавающую в похмельно-рвотном бульоне бытия.

Страшное осознание!

Помню, когда оно мерцнуло во мне, в моём опухшем сознании, как раз в грязное окно моё пробился мощный луч апрельского солнца. Он, этот луч, пробил неуют моей запущенной пыльной комнаты, достал меня в нише, в моём спальном углу, заставил зажмуриться сильнее, сморщиться и очнуться от тяжкого тёмного похмельного сна. Я вдруг по-детски расплылся в улыбке, потянулся – до хруста, до стога в суставах, – мотнул головой, словно стряхивая пыль с мозгов, и неожиданно сказал сам себе: хватит! *Так жить нельзя!*

Да, именно с этого мощного апрельского солнечного луча и началась в моём уставшем организме остановительная реакция, начался процесс пробуждения, началось протрезвление. Луч тут же растворился-исчез, но мгновение уже было. Я протёр энергично кулаком сначала один, потом другой глаз, нашарил на полу, рядом с матрасом, очки с треснувшим правым стёклышком, нацепил на нос, осмотрелся. Вид моего жилища меня ужаснул. Я словно впервые увидел всё это.

Комната была почти абсолютно пуста. В нише, прямо на полу, лежал надувной резиновый матрас, на котором я и

спал-плавал в пьяном бреду, обычно не раздеваясь. На одной стене, справа от окна, висело зеркало в пыльной бахrome и паутине трещин: бутылкой как-то запустил в него, запамятавав присловье, что на зеркало-то неча пенять, коли рожа пьяна. На противоположной стене, в том месте, где когда-то стоял шифоньер, были вsoбачены в кирпичи несколько дюбелей, на них висели две рубашки, штаны запасные, штопанный пиджак повседневный и вполне ещё приличный, из последних сил сохраняемый мною парадно-выходной костюм, прикрытый газетой. Я всегда помнил: если пропью и костюм этот, то совершу последний шажок от гомо сапиенса, гомо нормалиса к гомо скотинису, попросту говоря, – к свинтусу.

Ещё в углу у окна возвышались на газетке две стопки книг, томов пятьдесят – всё, что осталось от приличной некогда домашней библиотеки. На книгах лежали четыре фотоальбома – фотолетопись моей жизни, а на них стоял бронзовый бюстик Сергея Есенина, который каким-то чудом ещё сохранялся, не желал продаваться. Рядом с книгами стояла самая драгоценно-бесценная вещь в квартире – пишущая машинка «Унис» в чёрном кожаном футляре. Я знал: даже когда я буду умирать от голода и жажды, эта машинка портативная – знак, символ, талисман моей литературной жизни – останется в неприкосновенности.

В другом углу прямо на полу стоял старый ящик чёрно-белого «Рекорда», который, несмотря на патриарший возраст, ещё чего-то показывал и бормотал. Да всё такую муть, муру и

лажу, что по трезвянке и включать его не хочется. На полу же стояло ещё одно воспоминание о былой роскоши – перебинтованный синей изолентой телефон. На стене висел такой же раздолбанный радиодинамик. Ну и, наконец, несомненную и уникальную ценность имели две картины на стенах кисти талантливого барановского художника Дмитрия Шилова. Одна – мой портрет во весь рост: я сижу на стуле, нога на ногу, увечная рука перекинута за спинку, не видна, в правой – раскрытая книга, по коротким строчкам понятно, что это стихи. Другая картина – пейзаж: синие горы, полоска голубая Байкала и прозрачное сибирское небо.

Вот и – всё. В комнате моей более ничего, кроме пыли-грязи по углам да двух-трёх пустых бутылок, в то апрельское солнечное утро я не обнаружил.

В прихожей у меня висели, во встроенном, моими руками сделанном шкафу, замызганный плащишко и пальтецо на рыбьем меху, носимое весной, зимой и осенью, стояли туфли да стоптанные до полнейшего неприличия зимние сапоги. На кухне скучала электроплита «Лысьва», которая служила мне и печью, и обеденным столом, на ней – помятый чайник. Имелись ещё из имущества колченогая табуретка с железными ножками, пожелтевшая раковина-мойка, в ней – пара грязных тарелок, кастрюлька, сковорода, ложки-вилки. Всё это время от времени ополаскивалось. Стаканы же гранёные в количестве двух штук я никогда особо и не мыл: чего же из-под водки мыть-полоскать – она сама дезинфицирует. Раз-

ве что из-под портвейна или из-под одеколona когда сполоснёшь посудину с утрешка, дабы не так отвратно похмельную порцию заглатывать было.

Для полноты картины по стенам торчали уцелевшие шурупы и чернели дырки – следы исчезнувших шкафов, полок и всяких кухонных наборов, до которых жена моя покойница, Елена Григорьевна, преболяшущая была любительница.

Уютнее всего в доме, если можно так выразиться, гляделся санузел-совмещёнка. В своё – ещё в семейное – время я капитально отделал его: облицевал розовой плиткой, закрыл оргалитом трубы, пространства под раковиной и ванной. Притом, ширпотребовскую жестяную ванну успели мы с женой до катастрофы заменить на более основательную, чугунную, так что и по сию пору выглядит она прилично. Хотя, конечно, и в ванной-клозете запустение проглядывает из всех углов: побелка с потолка осыпалась местами, краны слёзно плачут, сливной бачок индийский непереставаямо урчит, занавеска клеёнчатая дырками сверкает...

К тому времени, когда я очнулся в яркое весеннее утро, я жил так вот, по-свинячьи, уже больше года, почти полтора. За это время я и расфуфырил весь уют своей квартиры, уют, который создавали-лепили мы с женой по крупицам более десяти долгих лет. И ведь у меня было всё: была жена, была дочурка, был даже кот, была работа и дом набит был всем вещём и шмутьём, необходимым для нормальной жизни.

Очнулся же я, испугался отнюдь не в случайный день, нет,

было 13 апреля – мой день рождения. Мне стукнуло сорок два. Ежу понятно – это самый подходящий момент и повод прочистить голову и поразмыслить: о себе, своей жизни, попробовать вперёд заглянуть, предугадать конец. Да-а-а, если ты родился 13-го, да ещё и фамилией тебя предки наградили не самой жизнерадостной – Неустроев, то, конечно же, от жизни мало надо ожидать хорошего. И всё же, к сорока с небольшим годам очутиться в такой глубокой, в такой тёмной и вонючей яме – это надо было очень и очень постараться.

Хорошо постараться!

2

Проснулся-очнулся я, само собой, в предынфарктном состоянии.

В последнее время похмелье стало превращаться в подлинную пытку: в башке – гражданская война и конский топот, по телу будто гусеничный трактор проехал, да потом ещё и лемехами стальными перепахал. И, как всегда, культя горит-плавится, словно отсутствующая кисть погружена в бурлящий кипяток.

В такие утра (а такие утра чуть не каждый Божий день!) первая мысль всегда: да уж лучше удавиться! И тут фокус весь в том, чтобы быстренько очнуться до конца и в момент,

порасторопнее нашарить в опухших мозгах какую-никакую взбадривающую мыслишку – оживляющую. На сей раз, после глобальных размышлений о том, что так жить нельзя, таких тонизирующих мыслей отыскалось даже две.

Во-первых, я ни словом, ни намёком не сболтнул шакалам этим – ни Михеичу, ни Волосу, ни даже Валерии – о своём нагрывшем дне рождения. Больше того, я им навешал липкую вермишель на уши, будто уезжаю дня на два, на три в Москву: якобы возможность у меня наклеивается туда перебраться, к друзьям студенческой юности. Они и обрадовались лапше-то: я бы им здорово задачку облегчил, руки бы развязал и лишний груз на совесть чёрную не стал бы взгромождать, если бы смотался из Баранова восвояси и с концом. Поверили, ханурики, так что визита их на свой день рождения я не опасался.

Во-вторых же, Михеич мне с радости отвалил на вояж в столицу целую стопку радужных бумажек. И как же он удивился, что я на сей раз не отбрыкивался от такой обременительной суммы – взял сразу и даже толком не поблагодарил. Удивился, но вида (Талейран!) не подал. Бороду свою карло-марксовскую огладил, ухмыльнулся, как всегда, гнусно, хохотнул:

– Пользуйся, парень, моей добротой – без процентов даю. Потом – сосчитаемся.

Он, Гобсек вонючий, так и говорит с ударением на первое «о» – процентов. А ещё он говорит «позвонишь», «одеть»

вместо «надеть» и путает слово «эффектный» с «эффективным». «Я, – говорит, – люблю эффектность в денежных делах!...»

Пошарив под тугой резиной матраса, я проверил: здесь, родимые, все тыщи до единой. Была, была, конечно, опасность, что Михеич и его подельники проследили и выяснили: никуда я вчера не уехал, весь и полностью туточки, на своей ещё законной жилплощади. Но, с другой стороны: а какой им резон чересчур утруждать себя? Таких, как я, *объектов внимания*, у них, поди, не один десяток в городе. Они уже уверены, они уже спокойны: весь я полностью ихний, спутан-связан денежными путами по обеим ногам и полутора рукам. Никудашеньки мне теперь от них не ускользнуть, не деться. Они, скорей всего, и решили: да пусть хоть и не поехал в Москву – сильнее упьётся, до крайней точки дойдёт, тёпленьким последнюю подпись свою и поставит.

Действительно, нет им уже резону суетиться и следить за мной, да и предупредил я Карла Маркса, Михеича этого гадючьего, что ненавижу филёров и вообще – дайте мне отдохнуть, даже привзвизгнул я, от ваших уголовных рож. Борода ухмыльнулся глумливо: мол, покуражься напоследок, алкаш. Волос-глист захихикал поганенько: мол, вот кобенится, сука, вот артист халявный, в натуре. А Валерия даже вид сделала, будто обиделась за «уголовные рожи». Впрочем, может быть, и не только вид сделала: она, Валерия-то, что-то стала на меня в последнее время всерьёз поглядывать, с какой-то

даже жалостью.

Следят они за мной или не следят, но осторожность никогда не помешает – резонно и вполне трезво решил я в то апрельское *рождественское* утро, на улицу мне высовываться не след. Я, невольно охая, стащил своё измученное тело с мягкого податливого матраса, доковылял до перебинтованного телефона (сколько раз шмякал бедолагу об стену), накрутил позывные Мити Шилова.

Я погорячился, когда заявил, будто очутился один-одинёшенек в этом неласковом городе. Нет, остался ещё у меня последний и разьединственный друг-земляк по месту рождения и гениальный художник Митя Шилов.

– Митя, – сказал я с придыханием в трубку, – твоей нет рядом?

– Нет, – сказал Митя, – слава Богу, нет!

– Тогда, Митя, спасай меня! – вскричал я, уже не приглушая голос. – Сегодня же – моё рождение. Тугрики есть, навалом, но я не могу высунуть нос из дому.

Митя врубился сразу – чего ж тут долго объяснять.

Пока он добирался, я сполоснул жидким льдом из-под крана опухшее лицо, почистил на совесть зубы, проскрёб щёки и подбородок туповатым уже лезвием, подровнял белогвардейские свои усы, смягчил кожу питательным кремом из запасов жены. Это – святое: весь этот утренний туалетный церемониал. Это у меня в крови: в свинтуса-то превратился-упал, быть может, но в мелочах меня не перегнёшь. Даже,

наверное, в гробу уже я тщательно побрежусь и облицую покороче ногти на единственной руке моей. Ногти я подтачиваю на оселке – удобно, да и аккуратно получается.

Так вот, Митя прилетел, оторвав себя ради друга-земляка и опохмелки от холста размером два на пять метров под названием ни больше ни меньше, как – «Гибель России». Я отделил ему полпачки дешёвых денежных знаков погибающей России, дал наказ фальшивки не жалеть и предупредил:

– Постарайся, Мить, проскальзывать ко мне понезаметнее – есть ребята, приглашать которых к столу я сегодня шибко не хочу.

– Понял, – коротко ответил Митя.

Он, как и все гениальные люди, в трезвом виде упорный молчун. К тому ж, Митя меня знает: что надо и когда надо я расскажу сам. Отсутствие назойливого любопытства – вот главное достоинство истинных друзей.

– Сумка есть? – ещё спросил я.

– Пакет есть, – хлопнул Митя себя по заднему карману потрёпанных вельветовых джинсов.

Митя Шилов, мой друг и товарищ, в отличие от своего знаменитого московского однофамильца и собрата по кисти, – не самый богатый российский художник. Далеко не самый.

Пока он бегал через дорогу на рынок, я сполоснул ради праздника потщательнее стаканы, ложки и тарелки, удерживая себя изо всех сил, чтобы не глотнуть сырой воды из-под

крана: уж потерплю, зато слаще тогда прольётся в горло опохмельная первая порция.

Митя нарисовался через полчаса на пороге со свёртком из собственной плащевой куртки в охапке. Оказывается, пакет ширпотребовский не выдержал весомого вкусного груза, лопнул по шву. Да и то! В охапке было: две бутылки (по 0,75 л) немецкой водки «Смирнофф», пластиковая цистерна двухлитровая польской шипучки «Херши», дубинка штатовского сервелата, ало-сочный жирный бок корейской горбуши, треугольный кус дырчатого датского сыра, банка литровая португальских пупырчатых огурчиков с чесноком, упаковка негритянского риса «Анкл Бэнс» и связка желтопуzych израильских бананов, которые, говорят, торгаши находчивые наловчились хранить в городском морге, арендовав его в складчину. Единственное, что, образно говоря, капало бальзамом на наши с Митей патриотические души и желудки в праздничном наборе – буханка-каравай отечественного барановского хлеба, да и то, может быть, испечённая из канадской пшеницы.

Рис разрекламированный мы с другом-сотрапезником решили оставить на потом, а поначалу лишь с холодными закусками расположились в комнате, расстелив старый номер «Новой барановской газеты» перед моим матрасным ложем. Я, конечно, и сам бы мог накрыть-сервировать стол, разлить живительную влагу по гранёным фужерам, хотя даже протез не пристегнул – он так и висел на гвоздике, над постелью,

но друг Митя не позволил мне в этот торжественный день утруждать себя хозяйскими заботами. Он быстро и художественно сотворил на газете натюрморт, с помощью своего ножа, похожего на уголовный финач, обезглавил фальшивого «Смирноффа», набулькал по половине стакана, поднял свой.

– Как бы я, Вадим, хотел поднять за твоё здоровье настоящей «Смирновской» или «Столичной», но весь рынок пробежал – одна эта дрянь забугорная... Тьфу! Давай-ка выпьем за то, чтоб уж к следующему твоему дню рождения Россия-матушка возвернулась в Россию!

– Так мы за меня пьём или за Россию? – подколупнул я.

– За тебя и за Россию, – серьёзно, без ухмылки ответил Митя: он терпеть не мог шуточек на эту тему. – На таких, как ты, Вадя, Россия и держится.

– На алкашах таких? – всё же не удержался я и, перебивая ненужное возражение, кивнул. – Давай, а то заболтались.

Пошла хорошо, хотя и фальшивая. Я похрустел пиренейским огурцом, Митя по исконной привычке занюхал вначале горбушкой хлеба, затем глотнул шипучки, поперхнулся.

– Фу, чёрт! В этом «Херши» первый слог аккурат в точку – херовый напиток. Щас бы кваску!

Это уж точно.

Я знал, что через часок-полтора придется распрощаться с Митей: мне надо было остаться одному – думать.

Притом, я ещё не знал, не решил – посвящать ли его в мои назревшие, как гнойники, проблемы. Бог его знает: за свою жизнь один я ответствен, а имею ли право рисковать жизнью чужой – пусть даже и ближайшего друга разъединственного?..

Пока же надо успеть за час-полтора наговориться-наобщаться с Митей. Тем более, не виделись мы, почитай, недели две – его благоверная Марфа Анпиловна терпеть меня не может и всячески общению нашему препятствует.

– Ну, как у тебя движется дело с «Гибелью России»? – начал я с основного, сразу после второй порции горячего.

– Застрял, – мрачно признался Митя. – Глазунова повторять не хочется, да и нельзя. А как втиснуть тему такую глобальную в рамки два на пять?

– А ты мог бы нарисовать картину – «Рождение России»?

– Рождение?.. – Митя задумчиво потрепал свою щегольскую, как у Репина, бородку. – Даже в голову не приходило...

– Не мучайся, – обрадовал я, – есть уже такая. На днях в одной конторе увидел – календарь такой, репродукция. Слыхивал ты про художника А. Набатова?

– Вроде нет.

– Я тоже – в первый раз. Представляешь, он Россию в виде молодой прекрасной и совершенно обнажённой девушки изобразил. Она рождается-выходит из какого-то шара – то ли земной шар, то ли яйцо, а может, и то, и другое вместе. Шар этот раскалывается на две половинки, на два лика: слева – вестгот какой-то, рыцарь-крестоносец, справа – узкоглазый азиатский лик, монголо-татарский. Они, лица эти – и европейца, и азиата – мертвы, сине-чёрны, безжизненны. А Россия – кровь с молоком, вся полна жизни, глаза голубые светятся. Правда, ангелы-ангелочки с крылышками уже венец терновый на голову ей готовятся примерить, фоном картине – горящие церкви, кровавое зарево пожарищ...

Митя слушал моё неуклюжее описание, морщил лоб, пытаясь, видно, представить въяве картину неизвестного ему, да и, вероятно, ещё мало кому известного, А. Набатова. Вздохнул недоверчиво.

– И что, Россия у него – совсем нагишом? Да ещё, поди, и расщеперилась? Это модно шас.

– Типун тебе! Ничего сального нет – всё со вкусом, в меру. Она, Россия-то, в пол-оборота к зрителю стоит. Только глаза-глазищи – не прикрыты и прекрасны.

– Ну, что ж, смело. Надо взглянуть, – констатировал Митя. – Где, говоришь, видал?

– В ЖЭУ нашем, в третьем. Там у них до сих пор портрет Ленина под стеклом висит, в галстук и пиджаке, а рядом вот они Россию обнажённую повесили...

– Вот именно – повесили, – буркнул Митя. – Давай-ка, именинник, репетатур лучше да стихи свои почитай.

Новая порция наконец-то полностью уравнивила организм. Захотелось есть. Мы с Митей подналегли на колбасу из бизонов и ворованную у нас и нам же корейцами проданную красную рыбу. Когда чуть прожевали, я и сделал Мите второй подарок в мой рождественский день.

– Я, – сказал я Мите, – читать свои вирши тебе не буду, а почитаю лучше настоящие стихи. Слушай.

Я достал из-под матраса номер «Барановской жизни».

– Надеюсь, ты не начал читать местные газеты?

– Я что – гребанулся? – даже оскорбился Дмитрий Широв. – Одна дерьмократам задницу подтирает, другая – коммунякам. Чума на оба ихних дома!

– Ну, тут ты горячишься, – возразил я, – бывают и в наших газетах проблески. Вот, смотри, какого поэта наконец открыли:

*Колокольный звон всяя Руси
Небеса с землёй соединяет.
Господи, помилуй и спаси!
Мой народ беды своей не знает.
С куполами сорвана душа,
В трауре великая держава...
Погибает Русь не от ножа, —
От идей, что плещутся кроваво...*

– Кто это, кто? Как зовут? – возбудился Митя.

– Владимир Турапин. Смотри, вот портрет его. Сам он из Москвы, но жил когда-то, в детстве, у нас, в нашей области. Так что – земляк.

Друг Митя схватил газету, всмотрелся в лицо поэта, пробежал взглядом по строкам врезки. Затем – проглотил всю подборку стихотворных строк. Я знал, какое впечатление произведёт это знакомство. Я улыбался и подкармливал своё истощённое в пьянках тело. Оно от «Смирноффской» уже было невесомо, безболезненно. В голове весело побулькивал наркоз. самого главного другу-гостю я ещё не сказал.

– Кстати, Митя, а я ведь лично знаком с Турапиным.

– Да ты что!

– Да-да! В общаге Литинститута встречались. Правда, он в мятину пьяный всегда был, так что стихов его я тогда не слышал. Гляди ты, выпустил всё же книжку: из сборника стихи-то перепечатаны – как он там называется?

– «Берегите себя для России»... Ух ты! Вот послушай:

*И даже тем, кто ненавидит Русь,
Нужны знамёна русского народа...*

Митя даже вскочил.

– Умри, Денис!.. Слава Богу, наконец-то появился у нас и после Коли Рубцова настоящий поэт!

И тут же Митя спохватился:

– Стоп! Вру! Ты, Вадя, тоже – поэт! Я тебе давно это говорю...

– Да хватит тебе, – махнул я культёй, – не криви фибрами – до Турапина мне никогда не допрыгнуть.

– Что ж, – после мучительного (для меня) раздумья согласился Митя. – Наверно, это так. Но и ты здорово пишешь. В Баранове сильнее тебя поэта нет...

– Ну, хватит! – уже без улыбки оборвал я. – Что ты меня – за пацана держишь? Я как эти стихи почитал, так сразу и решил: кончено! Больше не буду бумагу переводить – хватит!

Митя сел снова на пол, кинулся было меня переубеждать, но я прервал:

– Всё! Давай ещё по одной да будем, наверное, заканчивать. Праздник праздником, но и дела есть. Не обижайся, Мить!

– Я не обижаюсь, – пьяно обиделся Митя.

– Нет, правда, не обижайся, – хлопнул я его по плечу рукой. – Я одно дельце трудное и опасное обдумываю, мне скоро твоя помощь понадобится. Подмогнёшь?

– Какой разговор! – браво встрепенулся Митя. – Чтоб сибиряк сибиряку не помог!

Он зачем-то, видать для торжественности, снова встал и, покачиваясь, провозгласил тост:

– За Сибирь, коей могущество России прирастать будет – ура!

И он молодецки хлопнул почти полный стакан забугорной

водки. Я вдруг тоже встал и выпил стоя. Мы с Митей – заводские. Он родился в Нерчинском Заводе, я – в Александровском Заводе: есть такие райцентры за Байкалом, в области Читинской. Мы с Митей не могли не сойтись, не сдружиться, встретившись по воле судеб в чернозёмном городе Баранове за тыщи вёрст от Забайкалья.

Митя вдруг осовел вконец и с пьяным упорством вздумал допытываться: что у меня за проблемы, что за помощь мне понадобится? Он даже заплакал, закрипел зубами:

– Одни мы, Вадя! Одни!.. Гибнет Россия!.. И даже тем, кто н-н-ненави-и-идит Русь!.. Во как сказано! Пробьёмся, Вадя!..

По идее надо было укладывать Митю спать, но...

Вот именно – но: Марфу его я боялся пошибче, чем Ми-хеича с его шакалами. Она, конечно, уже и домой названивала, и в мастерскую, ища поднадзорного муженька. Вот-вот и ко мне вздумает позвонить и тогда страшно представить себе дальнейшее. Марфа-то – не забайкальская, Марфа самая что ни на есть – барановская, баба без всяких понятий о бескорыстной земляческой дружбе. А ещё вдруг заявится самолично? А кулаки у неё – с гениальную Митину голову каждый.

– Митя, – приподнял я его и встряхнул одной рукой, – Митя, о делах потом погутаим, по трезвянке. А сейчас давай-ка на автопилоте домой: вот-вот обед, и твоя Марфа Анпиловна уже на полпути к дому.

– Плевал я на твою Марфу! – раздухарился Митя, выпячивая сибирячью грудь.

– Да не моя она, Марфа-то, – тряхнул я его ещё жестче. – Ох, Митя, не рискуй. Вот тебе пятитысячный билет – спрячь поглубже, вечером пивка попьёшь. А я тебе на днях звякну – ты мне очень и очень будешь нужен. Ну, давай.

Я, сделав вид, будто не понимаю намёков Мити про пошлок и прочее, подталкивая, довёл его до двери, выставил-проводил за порог. На всякий пожарный выглянул в коридор – никого и все пять дверей соседских заперты.

– Митя, не вздумай сейчас пиво хлебать – вечером мучиться будешь, – напутствовал я в спину Дмитрия, бодро зашагавшего к лифту.

– Всё путём! Россия вспрянет ото сна! – отмахнулся Митя и чуть не упал.

Ничего, успокоил я сам себя, захлопывая и запирая на все замки, задвижки и цепочки дверь, – не впервой. Я вернулся в комнату, уселся на своём ложе, начал капитально и окончательно всё продумывать. В одной отравной бутылке осталось ещё больше половины. Жратвы – на пятерых. Я вливал в себя время от времени по глотку и закусывал.

Когда бутыль окончательно опустела и за окном сгустилась синь апрельской ночи, я устало потянулся, прошагал в ванную, взглянул на себя в зеркало и трезво подумал: да, так жить нельзя! Я чуть-чуть не перескочил грань, за которой – мрак и темь. Именно сегодня, в сорок второй свой день рож-

дения, я и очнулся: я не поэт, я всё потерял, я не живу, меня вот-вот и вовсе убьют...

Страху особого не было. Была, кипела во мне страшная неизбывная обида: профуфукал жизнь! И ещё – ярость, бешенство: неужто и конец мой будет таким же поганым? Да неужели эти шакалы вонючие с гнилыми душами и зубами, перегрызут мне на глазах у всех горло, уверенные, что так оно и должно быть! Ну, уж нет, сволочи! Так просто я под ваши жёлтые клыки горло своё не подставляю!

Да где ж это видано, чтобы Вадима Неустроева, коренного сибиряка-забайкальца, загрызли какие-то паршивые чернотёмные шакалы! Фиг вам!

Я бросился ничком на упругий, как молодая девка, матрас и уснул. Мне надо было очень хорошо выспаться.

Очень!

Глава II

Как я влюбился

1

Но прежде чем речь пойдёт о дальнейшем, необходимо рассказать-вспомнить хотя бы вкратце – как я потерял руку. Ибо моя инвалидность сыграла потом, в решающую минуту, узловую роль, спасла, можно сказать, мне жизнь. Да и вообще прежний отрезок Судьбы моей, мои сорок два прожитых года – прямая дорога к тому, что в конце концов со мной произошло-случилось.

Потерял же я руку по глупости, по великой той дури, которая свойственна всем прыщавым, влюблённым, да ещё и пьяным молодым дебилам. Случилось это в Москве, когда я учился в университете, жил в общежитии на улице Шверника, в знаменитом Доме аспиранта и стажёра – ДАСе. В то студенческое время я ходил как ошалелый, в голове моей всё как бы кипело, кровь бегала по венам и артериям клубясь, толчками, бешено. Да и то! Попасть из забайкальского глухого села в столицу империи да ещё и в легендарный университетский мир – это была сказка, фантастика, пьяный

материализовавшийся бред.

Поступал я на дурика. До этого дважды пытался прорваться в Литературный институт. Один раз, ещё до армии, послал туда на творческий конкурс тетрадочку своих детских опусов, не подозревая, что никто и никогда не станет там, в Москве, даже раскрывать её – в комиссии ведь сплошь сидят близорукие да дальнзоркие патриархи Парнаса, для которых посильна только машинопись на белой мелованной бумаге и непременно через два интервала. Мне даже не ответили.

В другой раз и в последний, когда я уже работал в районной газете после дембеля и имел возможность отшлёпать свои сочинения на редакционной «Башкирии», я был на все сто уверен в успехе. В ожидании вызова на экзамены ходил по редакции и по селу с отрешённым поэтическим видом, отрастил волосы до плеч и культивировал под носом романтическую полоску усов. Когда я вынул из почтового ящика тощий конверт со штемпелем Литинститута, я быстро спрятал его под рубашку, прошагал в свою комнатунку-гроб, заперся от матери и сестры на задвижку и, ей-Богу, минут десять сидел на кровати, бурно и взволнованно дыша. Мысли мелькали: всё теперь изменится... впереди – слава... в Москве жить буду...

Наконец, когда сердце изныло и нервы устали вибрировать, я вспорол конверт и достал бумажку-бланк, где была от руки вписана моя фамилия, текст же чернел ксерокопич-

но сухо: «По результатам творческого конкурса в Литературный институт им. А. М. Горького Вы не допущены к вступительным экзаменам. Рецензии и отзывы не высылаются, рукописи не возвращаются».

Вот и хорошо, что не возвращаются! Впрочем, есть ещё второй экземпляр и черновики. У меня уже имелась даже *настоящая* поэма лирическая «Байкальские зори» и поэма-пародия на одного *публичного* поэта – «Панибратская АЭС», было много стихов о любви: «розы – морозы», «любить – убить», «тоска – ЦСКА»...

Я просматривал их и рвал. В клочки. Я уничтожил всё до последней строки, а потом поплёлся в пивнушку «Бабы слёзы», наглотался разливного отравного вермута и прокисшего пива до кадыка, весь вечер плакал, блевал и ругался и всё убеждал своих приятелей: стихов я больше не пишу – ша!..

Когда я протрезвел через пару дней, я здраво на больную голову подумал: поэт я, конечно, никакой – в этом убедить меня можно; но журналист я – не из последних. Ещё со школы начал публиковаться в районке, теперь вот в штате: материалы всегда идут на ура, их хвалят-отмечают, приходят даже письма-отклики, что в нашей газете редкость из редкостей. Одним словом, вперёд и с песней! Я решил поступать на журфак МГУ. Редактор газеты, мудрейший Владимир Михайлович, выдавая характеристику и направление, попытался осторожно умерить мой апломб: мол, Вадим, хотя бы в Иркутск попробуй, или в Томск. То же самое твердили

мне и матушка, и друзья-приятели, но я закусил удила. Чёрт с ним, с паршивым зазнайским Литинститутом, но учиться я буду всё равно только в Москве.

И Судьба, видно, уважила мой напор, мою решимость. Я проскочил. Больше того, я сдал вступительные экзамены без троек, так что сразу обеспечил себе стипендию, без которой вряд ли выжил-выдержал бы первый год. Между прочим, меня особенно ошеломил экзамен по инязу. Я немецкий знал так же хорошо примерно, как попугай какаду – язык человеческий. Когда я, багровый от натуги и смущения, бормотал-лаял двум кокетливым аспиранткам что-то «по-немецки», я с тоской думал: «Всё, на этом и – ауфвидерзеен!» Однако, милые аспиранточки пощebetали-посоветовались друг с дружкой и пропели мне дуэтом:

– Фи-и-ир!

Я, не веря своим ушам, схватил экзаменационный лист: точно – четвёрка. Я в пароксизме восторга чуть не кинулся целовать милых немочек. Уже потом я узнал: оказывается, многое решает собеседование и творческое конкурсное сочинение. Так что где-то в уголочке моего отметочного бегунка для экзаменаторов был нарисован-помечен некий условный значок: отнесите, мол, к этому абитуриенту из медвежьего угла поласковее. Что аспирантки-немочки и сделали, – дай им Бог хороших импортных мужей да побольше пфеннигов и марок!

Всё это я желал им заочно, но вслух, когда после экза-

мена чокался полнопенными кружками с такими же удачливыми сотоварищами-абитурами в пивном подвале «Ладья» на Пушкинской. Мы быстро обжили эту пивнушку в центре Москвы, где любил, говорят, бывать Сергей Есенин, и каждый экзамен обмывали здесь пивком из автоматов, портвейном из контрабандой пронесённых бутылок и заедали горячими аристократическими креветками. Всё это стоило тогда вполне разумно. А после «Ладьи» в тот *посленемецкий* вечер я пытался дать на Главпочтамте телеграмму дяде с тётей в Ворошиловград, но телеграфистка никак не могла уразуметь текст: «*Ихъ поступил ин Москау унифэрзитэт*». Чуть в милицию не загремел.

Вот так я стал студентом славного Московского университета имени Михайлы Василича Ломоносова. И жизнь завертелась бешеной каруселью. Учёба, против ожиданий, оказалась не такой уж грызогранитной. Уже со второго семестра начал я получать повышенную стипендию, всего-то на червонец поболее, мелочь, казалось бы, а – приятно. Правда, приходилось поддалбливать тот же растреклятый дойч, марзматические истмат с диаматом, да совершенно нелогичную политэкономию капитализма. Но особенно нагонял тоску идиотский совершенно предмет под названием – основы научного коммунизма. Забегая вперёд, скажу, что в университетском дипломе моём красуется всего один трояк и именно по этому олигофренному псевдонаучному коммунизму. Чем я, к слову, всегда и горжусь.

Все же остальные предметы проглатывались и усваивались, что называется, на бегу. А главный и важнейший предмет – «жизнь» – постигался и познавался, в основном, в стенах общаги. Признаюсь честно, и дома, в своём селе, я не был пай-мальчиком, но каковые нравы и порядки встретил я в ДАСе – это ни в реалистическом повествовании сказать, ни шариковой ручкой описать. Две громадные 16-этажные панельные книги, соединенные в архитектурную дилогию стеклянной перемычкой, были напичканы любовными историями погуще, чем восемь томов «Тысячи и одной ночи». По меткому определению старого циника Лазаря Наумыча из райвендиспансера, аббревиатура ДАС расшифровывалась не как Дом аспиранта и стажёра, а как – Дом активного секса. И действительно, студенты, аспиранты и стажёры не только и не столько учились, сколько пили, веселились и сношались-трахались. Не все, конечно, но – многие.

Попал, как говорится, в эту компанию и я.

Нас, первокурсников, наспиговали по пять особей в комнату. Судьба соединила меня в комнате № 1328 с Сашей из Краснодара, Пашей из Риги, Аркашей из Дудинки и Лёней-туляком. Не буду афишировать их фамилии – это мне уже терять нечего, да и жить-то, может, осталось...

Так вот, сошлись мы впятером и начали жить-поживать в угловой комнате почти на самой верхотуре первого корпуса ДАСа. Из окон нашей обители хорошо просматривался высотный же дом по соседству, в котором проживала мать

Владимира Семёновича Высоцкого и к которой, говорят, он нередко заглядывал. Так что вполне вероятно по дороге из ДАСа в торговый центр «Черёмушки» я мог в любой момент столкнуться на тротуаре нос к носу с самим Высоцким. Кстати же, и «Черёмушки», и наш ДАС играли свои роли в невероятно популярном фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». И мы, сопливые провинциалы, в первые дни студенческой жизни просто обалдели, попав из захолустной грязи в столичные князи, из серой обыденности на праздник жизни, так похожий на кино.

А юность праздника жаждет агрессивно. Правда, многое зависит и от характера. Уже с первой – на новоселье – пьянки мы в общем и целом определились-распределились: кто у нас есть кто, а потом это и подтвердилось общежитским житьём-бытьём. Например, быстро выяснилось, что я и длиннющий, как Пётр Первый, Аркаша-северянин – оба мы не дураки выпить. Саша с Павлом алкали более умеренно и никогда не опохмелялись, а вчерашний школьник и золотой медалист херувим Лёнечка – вообще с трудом заталкивал в свой организм рюмашку малую вина по самой праздничной необходимости.

На звание донжуанов, селадонов, ловеласов, а попросту говоря – блядунов, претендовали практически мы с Сашей, теоретически – тот же Аркадий со своими гусарскими усами, а русский прибалт Паша и туляк Лёня, напротив, всё ещё верили в настоящую и разьединственную Любовь с большой

буквы, ожидали только её. Теоретизм пылкого Аркаши объяснялся его затянувшимся девством. Наш же с Александром практицизм по части дам-с объяснялся и того прозаичнее: были мы постарше остальных, кое-что в жизни уже повидали, на любовном фронте порошу понюхали, как бы чуток душами и подустали, в любви разочаровались – так нам, по крайней мере, мнилось и казалось.

Добавлю для полноты картины, что ДАС был переполнен студентками, стажёрками и аспирантками на любой вкус, а в комнатах стояли почему-то полутораспальные кровати, вполне вмещающие пару юных, не раскормленных ещё тел. К тому же, комната наша, как и все другие в общежитии, имела нишу-закуток и два громоздких шкафа – книжный и платяной, – так что легко превращалась в *многоугольную* квартиру: то есть, разгораживалась на два, три и более жилых угла. Плюс ко всему, имелась ванная, пусть и совмещённая с туалетом, но всё равно – весьма удобное место для экстренных *объяснений в любви*.

В любви чувственной и пылкой.

2

Уже на красный день 7-е Ноября случилась в комнате № 1328 настоящая оргия в духе римских ночей периода упадка.

Лёнечка укатил на праздники домой, в свою самоварную Тулу. Всё ещё несмелый с женщинами Аркаша отправился в гости к дальней старой родственнице в Медведково. А у нас сложилась-склеилась горячая весёлая компания из трёх пар: Паша всё же решил испытать себя, попробовать на вкус страшное, но притягательное слово – «разврат».

Пытаясь хотя бы формально соблюсти известное правило-поговорку о несовместимости места проживания с воровством, мы пригласили в гости не наших журналисточек, а – *психичек*, то есть студенток с факультета психологии. Разделились так: Саша своими сально блестящими глазами кавказского сластолюбца сразу углядел такой же фанатично-похотливый блеск в узких очах Фаины с мальчишеской, цвета воронова крыла причёской; я положил глаз на хрупкую субтильную Любу с маленьким вздёрнутым носиком и голубыми глазищами на пол-лица; смущённому бородатому Паше досталась пухлявая грудасто-губастая Лизавета, которая сразу повисла у него на плече и начала пожирать бедного Пашу своими коровьими, с поволокой жадными очами.

На столе – чего только не было. Икры паюсной не было, сервелата не было, коньяка тоже не было. Зато двумя мощными ручьями лились вино чернильно-портвейное и водка, возбуждали наш студенческий аппетит кильки в томате, плавленые сырки, колбаса докторская и солянка из кислой капусты баночная. Впрочем, разве это главное на празднике – закусь? Да нет, конечно! Нашлась у нас гитара-шести-

струнка, имелась и вертушка – не «Шарп», конечно, но зато хорошо пошарпанная, работающая. С десяток заезженных моднячих дисков – чем не фонотека? И – самое главное – была у нас неизбывная ещё юность и жажда праздника, кипела-булькала в организмах страстная подогретая энергия.

Уже через час после начала застолья сигаретный дым и дым веселья в комнате 1328 клубились не хуже, чем дым пороховой на Бородинском поле, судя по фильму Бондарчука. Отплясывали так, что шкафы подскакивали. А потом, после очередного тоста в честь «великой» и «октябрьской», которая дала нам всё, о чём можно только мечтать, Саша взял в руки гитару и запел дореволюционный мещанский романс:

*Были когда-то и мы рысаками
И кучеров мы имели лихих...*

Что и говорить: пел Саша не по-комсомольски – чувственно и сладко. Всем на радость, а мне ещё и на зависть – я совершенно лишён слуха и голоса. У меня до того отвратительный примитивный слух, что, например, из классики я воспринимаю только самую простую и понятную музыку – Чайковского, Бетховена, Штрауса, Свиридова...

Впрочем, без шуток, в тот вечер меня крепенько корябнуло по сердцу *и не только по нему*, когда моя Любовь, которую я уже успел во время танго вкусно поцеловать пару раз, предательски забыв про меня, впилась глазищами восторженно

в нашего барда и, шевеля сладкими губами-вишенками, подхватывала-впитывала романс с его сочных губ.

Увы мне, увы! Пришлось тут же совершать обмен. Ещё, хвала аллаху, восточная Фаина довольно равнодушно отнеслась к певческому таланту Сашки и не менее индифферентно восприняла рокировку ухажёров. Я, разумеется, поначалу надулся, как мышь на крупу, принялся кукситься и портить всем настроение, но тосты следовали за тостами: пили и в честь московского университета, и в честь славного ленинского комсомола, и в честь лично Леонида Ильича, и отдельно в честь его бровей, и, уж разумеется, – в честь милых дам. Так что грусть-обида моя быстро растворилась, не успев толком выкристаллизироваться.

Зато, согласно теории Стендаля, началась бурная кристаллизация любви – да простит мне французский классик этот в данном случае эвфемизм. Моя Фаина во время танцев так плотно прилипала ко мне и так яростно впивалась в мои губы, что я уже горел, я пылал и таял. А когда, в очередной присед за стол, проворница, задрав чуть не до пупка юбочонку, вскарабкалась ко мне на колени и недвусмысленно заёрзала-завертелась на мне юлой, я потерял сознание и сам толком не заметил, как очутился со своей пылкой дульцинеей в ванной. И что же принялась она, кудесница, там вытворять!..

Когда мы через полчаса появились вновь на публике, я поначалу глаз не поднимал, но вскорости заметил, что и дела никому до меня нет. Я встряхнулся и окунулся в этот шабаш

весь и целиком. У Саши с Любашей дела тоже более-менее продвигались: они уже целовались во время танцев при всех и не отрывали глаз друг от друга. Я отметил, впрочем, что Сашок, вопреки своей натуре и рассказням-воспоминаниям о былых победах, держится довольно скромно, рукам волю не дает. У третьей же нашей парочки инициатива заметно принадлежала леди: темпераментная, несмотря на комплекцию, Лизавета по закону всех *лядей* не стала дожидаться милостей от ухажёра, захватила его в плотный обруч-плен своих мощных объятий, принялась зацеловывать его и тормозить. Бедолага Паша тоскливо-предгибельно поглядывал на нас с Александром, багровел, обречено отдувался, как тритон, и глотал для куражу ненавистную водку.

Дальнейшее вспоминается отрывочно, фрагментами. Вроде бы Саша с Любой оставались *домохозяйничать*, а мы вчетвером спускались в зимний сад на дискотеку. Потом уже мы с Фаиной оказались вдруг в комнате одни и весело принялись вытворять всякие маркиздесадовские штучки-дрючки. Помню ещё, как мы с Александром уговаривали Пашу быть посмелее, полюбить наконец Лизавету по-мужски – просто и без всяких финтифлюшек. Мы даже запихивали Павла в комнату, где в темноте затаилась в засаде пылающая Лизавета...

Наутро возвратившийся из гостей Аркаша ввалился в незапертую дверь и застал следующую картину: на подушках трёх кроватей за шкафами и в нише посапывали слад-

ко по две головы, посреди комнаты поражал живописностью разорённый стол, и воздух комнаты ещё, казалось, струился миазмами вождения и флюидами любви. Аркаша чуть слюни не пустил. Девчонки особо не взволновались, узрев со сна незнакомого и лишнего человека. Впрочем, его тут же, снабдив *тугриками*, снарядили в магазин за *лекарством*. Любовь любовью, а головы у всех гудели набатно и требовали продолжения праздника. Тем паче, 8-е ноября тоже красный день – спасибо партии и советскому правительству.

И когда возбуждённый Аркадий возвратился с полной звякающей сумкой, кутёж вспыхнул с новой силой. Аркаша, быстро опохмелившись, задёргал меня за рукав: мол, сказать чё-то надо. Мы с ним вышли в коридор, и Аркадий бурно зашептал:

– Вадим, друг, умру, ей-Богу! Дайте мне хоть поглядеть!

– Да чего поглядеть-то? – не соображал я угарными ещё мозгами.

– Ну, как вы будете!.. Я в шкаф незаметно заберусь – там дырочка есть... А?

Я представил, как двухметровый Аркаша будет, скрючившись, стоять в шкафу, выглядывая в дырочку постельные сцены, и хохотнул. Аркаша, не обижаясь, с мольбой смотрел на меня, облизывая губы. Я хлопнул страдальца по плечу:

– Не надо, Аркаш, унижаться перед бабами! Зачем тебе дурацкая роль зрителя, а? Готовься, сегодня ты станешь не мальчиком, но мужем.

– Как так? – уже заранее, по привычке, заробел Аркаша. – Что ты! Не надо!

– Надо, брат, надо, – твёрдо произнёс я. – Когда-нибудь же надо, а?

– А с кем? – уже перебарывая свой хронический трепет, оживился Аркадий.

– Сейчас я вас поближе познакомлю, не дрейфь, – и я уверенно втолкнул Аркашу в задымленный вертеп.

Дело в том, что Паша, улучив утром минуту, потерянно признался мне о своём ночном фиаско: увы, он не оправдал пылких вожелений Лизаветы, закомплексовал напрочь.

– Чёрт его знает, – бормотал Паша, нервно жуя сигарету, – у меня всё получалось с Олей, моей соседкой дома... А тут – хоть домкрат тащи... Может, я больной, а?

– Да брось ты! – поддержал я дух в товарище. – Не бери в голову. Просто твоя соседка Оля тебе, видно, нравилась, а эта леди не очень – а?

– Да, да! – обрадовался Паша. – Меня даже тошнит от неё...

Так что когда я подсадил к заскучавшей квёлой Лизавете нашего усатого гренадера, она тут же воспряла из пепла и принялась пунцового Аркашу обмусоливать да ощупывать. Повеселевший от свободы Паша, в свою очередь, раздухарился, взялся отплясывать с жаром и травить солёные анекдоты. А уж что творилось с Аркашей, когда, спустя пару часов, он действительно познал, наконец, сладость плотского

греха – и описывать не стоит.

Праздник удался.

И сколько подобных праздников случилось-выпало – теперь уже и не вспомнить. Тем более, поводов собрать тёплую компанию за накрытым не по-будничному столом хватало в избытке. За Великим Октябрем следовал День Советской Конституции, а там и Новый год, потом День Советской Армии и Военно-Морского Флота, Международный женский день, День советской космонавтики, Первомайский праздник солидарности трудящихся, День советской *правдивой* печати, День советского *достоверного* радио, День *убедительной* Победы... Да к тому ж, случались каждый год у каждого из нас дни рождения. А конец зимней или летней сессии – разве слабый повод? Так что – наливай и пей!

Выпадали и вовсе внеплановые события-поводы: например – очередной съезд КПСС. Нет, уж по этому случаю мы бы и не додумались устроить застолье, однако ж, на съезд приехал делегатом старший брат Павла, парторг воинской части, и заглянул к нам на огонёк. Уже чокнувшись пару раз за встречу и знакомство, расслабившись, Пашин брат-майор рассказал, как поразила его собственная реакция в самый торжественный момент съезда.

– Знаете, ребята, я, как и все мы – циник, но когда в зал вошёл Брежнев и все вскочили, вскочил вдруг и я. Больше того, рукоплескал от сердца, от души, и даже слёзы на глазах проступили... Вот ведь психоз какой!

Да-а-а, психозу в те *брежние застольные* времена хватало. И – цинизма. Впрочем, жизнь брала своё и шла своим чередом.

Мы ещё умели радоваться жизни.

3

Первым женился циник Сашка.

Женился на Любе. С того разгульного седьмоноябрьского дня они уже не расставались и хотя порой ссорились, но непременно мирились и в конце концов на втором уже курсе сыграли свадьбу. Я был свидетелем со стороны жениха, мёд-пиво пил – по усам текло и в рот изрядно попало.

Следующим, спустя полгода, на удивление всем оженился наш кудрявый Лёнечка. Полтора курса он сидел на лекциях и семинарах с такой же школьницей-медалисткой, видел в ней товарища по учёбе, спарринг-партнёра в период сессий и вдруг заметил, что при соприкосновении с подругой-отличницей локотками его бьёт током и бросает в жар. А когда они случайно однажды поцеловались, то тут-то всё и выяснилось-разрешилось. Поженились голубки. Я снова играл роль шафера – такова уж моя планида.

А уже на четвёртом курсе, когда мы обитали в трёхместной каюте, пришёл черёд и Паши. Он женился на... моей невесте. Да-да! Дело в том что на новогоднее застолье одна

из наших, дасовских, девчонок пригласила в общагу свою землячку, эту самую Тоню-лимитчицу, сильно мечтавшую с серьёзными, как говорится, намерениями познакомиться со студентом-журналистом. Ей заочно порекомендовали меня: как самого старшего среди сотоварищей, самого (чего уж скрывать!) талантливого и очень даже галантного кавалера – был, был когда-то порох в пороховницах! Меня тоже предупредили, и с первых же минут знакомства с симпатичной большеглазой Тоней я принялся старательно строить куры. Дело продвигалось по сценарию: мы сидели за столом рядышком, бедро в бедро, рука моя уже как бы ненароком потерялась-позабылась на плече гостьи, мы уже чокнулись на брудершафт и – ещё жеманно – поцеловались...

И вот тут меня подвела близорукость: очков тогда я ещё не носил и в полумраке сел в большую лужу. Я принялся вязать из словес очередной поэтический комплимент своей даме и ввернул нечто про наш с нею родственный объединяющий цвет глаз – карий. И – всё. Некий таинственный тумблер щёлкнул, контакт оборвался, Тонечка, ещё за секунду до того внимавшая каждому моему слову, вдруг потухла, отодвинулась, стёрла ласковую улыбку с губ. Я на свою беду (или счастье – неисповедимы пути Твои, Господи!) не сразу это заметил, отвлёкся, пошёл отплясывать в пылу веселья с другой подругой, а когда спохватился, Тони и след простыл. А её землячка меня пожурела: ох ты, мол, и ухажёр, мать твою! Не разглядел, что у невесты будущей глаза редко-зелёные,

изумрудные – чем она гордится до чрезвычайности. Будешь в следующий раз исправлять-замазывать свою оплошку...

Но ничего мне замазывать не пришлось, да и, признаться, не хотелось: что-то я до свадьбы-женитьбы вроде как бы ещё и не дозрел. Зато Судьба Паши-рижанина встрепнулась, ухватила вожжи событий в свои руки. Недасовская скромная дивчина глянулась моему другу с первого взгляда. Когда через пару недель Тонина землячка заглянула к нам в комнату и начала тянуть меня в гости к Тоне на старый Новый год – исправлять оплошку, а я взялся кочевряжиться и отнекиваться, Паша пошёл ва-банк и предложил себя в качестве сопровождающего. День этот всё и определил.

Как сам Паша потом живописал в подробностях, он бы не решился ни на какие шаги-объяснения, если бы не совершенно дикий случай. Тоня в своём Тёплом Стане, в своей общаговской комнате-секции встретила гостей одетая ещё по домашнему – в халате. И потом, когда праздничный стол был оформлен, она скрылась в ванную – переодеться. А Паше, уже пьяному без вина и плохо соображающему, приспичило позарез в туалет по малой нужде – в той цивилизованной общаге лимитчиков санузел был раздельным. Он прошёл в коридорчик, запутался и по ошибке торкнулся в дверь ванной. Двери отверзлись, и Паша превратился в соляной столб – вмиг окаменел и покрылся солёным потом: хозяйка в одних беленьких трусиках, тоже окаменев, смотрела на него зелёными глазами, демонстрируя свои прелести во всей

неприкрытой красе. А грудь у Тони – это я ещё в новогодний вечер углядел под блузкой – имелась, так сказать, в достаточном количестве. Павлу было чего лицеизреть, вернее – *персизреть*.

В это прекрасное мгновение, которое остановилось, пока недогадливая (или чересчур по-женски догадливая) Тоня не прикрыла свои алые девичьи сосцы, Паша и обезумел окончательно. Немудрено, что буквально через три месяца они с Тоней сочетались законным браком, сняли комнату и принялись плодиться и размножаться. Я, само собой, на свадьбе был свидетелем очередного чужого счастья.

Мы с Аркашей остались на пятом курсе в трёхместке вдвоём – Паша превратился в «мёртвую душу». Кстати, совсем недавно узнал я про то, как нынешние, времён перестройки, дасовские *мёртвые души* сдают своё общежитское место, причём за валюту – койко-место стоит 80-100 баксов. Вот, уж действительно, – о tempora, о mores!

Тогда же, в начале 1980-х, про паршивые девяностокопечные доллары и мыслей ни у кого из нас не возникало, так что остались мы с Аркашей на трёх койках в комнате вдвоём.

Последние могиране.

4

Впрочем, «вдвоём» – это сильно сказано.

Я-то, если откровенно, подустал и душой, и телом. Да и ничего удивительного в том нет: вон Печорин, мой ровесник практически, уже к двадцати пяти годам оравнодушел к женским прелестям, заскучал, перестал пополнять коллекцию любовных побед. Мне страстно вдруг захотелось какой-то чистой, возвышенной, поэтической любви, чего-нибудь этакого в духе Тургенева, а ещё лучше – Руссо. С сексуально озабоченными такое случается сплошь и рядом. И мечтания-воздыхания мои были на небесах услышаны.

Дело в том, что я стихи не бросил и в университете. Даже ходил пару раз в знаменитую поэтическую студию Игоря Волгина, который в те годы ещё считался пиитом, а не достоевсковедом. Но литстудия мне не глянулась – не люблю обсуждать свои творения публично, да ещё и в рукописи. Однако ж, по издательствам да редакциям, как и все молодые, упорно таскался-похаживал. И вот свершилось: подборку из пяти моих стихов тиснули-таки в одном «молодогвардейском» сборнике. С биографической врезкой, фотопортретом – всё как полагается. Это ещё на четвёртом курсе.

И вот, когда я уже перестал удивляться (почему это меня не узнают на улицах и не требуют автографов?), я впервые и вкусил глоточек славы. Я приехал на летнюю практику, уже во второй раз, в Севастополь. Ещё в прошлом году я, никогда до того не видавший моря, раз и навсегда влюбился в этот красавец город русской славы и уже подумывал: не распределиться ли после журфака сюда? Тем более, что в редакции

городской газеты отнесли к мне с распростёртыми объяснениями, пришёлся я здесь явно ко двору.

И вот я вновь очутился на черноморских берегах, уже в ранге публикующегося поэта и в ожидании светлого глубокого и лирического чувства. В первый же день, в типографской столовой, я ощутил вдруг на себе жар пристального взгляда. На меня смотрела во все свои серые глаза-блюдца светловолосая девочка, похожая, право слово, на ангела во плоти. Я даже смутился, поперхнулся, чуть не подавился полусъедобным общепитовским рагу и торкнул под столом Володю из спортотдела: кто это? Оказалось: новая корректорша, только что из школы – Лена.

Без всяких грязных задних мыслей, просто в силу привычки, инстинкта, я дождался Лёну на выходе из столовой и, опять же по обыкновению, с ухмылочкой протянул ей пачку московской «Явы».

– Мадам закурит?

Лена почему-то виновато улыбнулась и смущённо призналась:

– Я не курю, что вы!

Гм... Я сразу сменил тон: передо мной действительно стояла *нормальная* девушка – это я понял потасканным своим сердцем сразу.

– Вас зовут – Лена? А меня – Вадим. У вас есть ещё от обеда десяток минут? Может, подышите солнцем, пока я буду травить свои лёгкие?

– Подышать солнцем? – улыбнулась чудесно она. – Так только поэт сказать может...

Вот так да!

– Поэт? Вы знаете, что я пишу стихи? – вскричал невольно я, пропуская её вперёд на простор летнего приморского дня.

Мы пошли вниз, к Артиллерийской бухте. Лена обернула ко мне лицо, нараспев начала:

Как много может человек,

Когда он полюбил...

Батюшки светы! Сердце моё облилось кипящим бальзамом. Я вскрикнул, прервал:

– Так вы видели мою подборку в «Парусе»?

– Ещё бы! Мне очень-очень понравились ваши стихи! – И вдруг она, странно глянув на меня, выдала. – Я знала, что вы опять приедете на практику, ждала...

Не успел я как-нибудь чего-нибудь ответить, как она добавила:

– Я ещё в прошлом году все-все ваши статьи читала, все до единой...

Я, конечно, от всего этого обалдел, невольно сам себя шибко зауважал. И, уж разумеется, сразу почувствовал к Елене *влечение – род недуга*. А когда я узнал-услышал, что она тоже пишет стихи, и у неё тоже только-только случилась первая публикация серьёзная и тоже в «Молодой гвардии» – я и вовсе закипел, потерял голову.

В тот же день Лена, когда я подписал уже заранее припа-

сѐнный ею экземпляр моего «Паруса», подарила мне сборник «Ранний рассвет» со своим стихотворением, написанным ещё в шестнадцать лет. Предисловие к сборнику и комментарии написал, между прочим, тот самый *публичный* знаменитый поэт, на которого сочинил я ещё в Сибири поэму-пародию. Но когда я прочёл его напутствие, адресованное лично Лене, я многое простил этому эстраднему попрыгунчику-старперу – «Я верю тебе, Лена!..» Видать, и этого старого фигляра тронули поэтические откровения севастопольской девочки:

*Бродит что-то непонятное,
Чуть разгульное во мне –
Дали-шири необъятные
Часто вижу я во сне.
Часто снятся ветры буйные
И кочевника стрела,
Реки звонко-чистоструйные,
В вышине полёт орла.
И над степями ковыльными
Золотым щитом луна,
И объятъя чьи-то сильные,
Кубки пенного вина,
Кони лёгкие, горячие
Часто-часто снятся мне.
Оттого-то, верно, плачу я
И смеюсь порой во сне.*

Сейчас, уже, можно сказать, итожа жизнь, я более всего не перестаю удивляться двум вещам в своей Судьбе: во-первых, когда меня не любят, то есть когда вдруг не отвечает мне взаимностью красавица, которая понравилась мне; и, во-вторых, ещё более поражался я и изумлялся, когда в меня влюблялись – каждая девушка или женщина, ответившая на мои чувства, ставила меня в тупик. Ну, за что, за что можно любить такого обормота, как я?..

Воистину, мир Божий полон чудес, и сердце женское – одна из самых изумительных тайн на свете.

Немудрено, что я заговорил так поэтически и пылко: любовь Лены ошеломила меня, окрылила, вознесла в поднебесные выси. Мы начали, как принято говорить, встречаться: гуляли после работы по уставшему от жары и многолюдья Севастополю, ели мороженое и выпивали иногда по бокалу шампанского в павильоне на Большой Морской, выходили по Приморскому бульвару к Графской пристани, любовались бухтой, памятником затопленным кораблям, сторожевой башней вдали... Ничего нет томительнее красивее моря на закате дня! А по выходным мы ездили купаться в Херсонес или на пляж Солнечный, искали там местечко поудобнее и не могли насмотреться друг на друга и наговориться. Загорелое юное тело Лены, едва прикрытое голубым купальником, тревожило-волновало мой взгляд, но я и мысли не допускал, чтобы прикоснуться к нему даже случайно.

Буквально уже на второй день, когда я проводил Лену до

дому, она пригласила меня зайти, познакомиться с родителями. Я, понятно, сразу испугался, даже руками замахал – знакомство с предками моих подруг никогда не входило в мои планы. Но Лена серьёзно и убедительно обосновала:

– Папа с мамой волнуются, когда я прихожу поздно, а когда они узнают тебя – волноваться перестанут.

Ну – что тут возразишь?..

В этот вечер, правда, я не смог перешагнуть себя и порог Лениной квартиры, но на следующий день, подготовившись морально и внешне, в белой рубашке, с розами в потной руке, предстал перед очами её родителей. И уже через полчаса я пребывал в уверенности, что знаком с Евдокией Петровной и Василием Кирилловичем со времён оных, когда ещё под стол пешком ходил. Я сразу понял, в кого уродилась такой красавицей и разумницей единственная дочка их, Елена – чудесные оказались старики.

Отец, правда, не утерпел – ещё в начале, когда за знакомство подняли мы за изобильным, к моему приходу накрытым, столом напёрстки с домашней наливкой, – высказал-намекнул в тосте: мол, дочку растили-холили они в надежде, что достанется она в жёны достойному, не ветреному человеку. Но Василий Кириллович и договорить толком не успел, как Евдокия Петровна за рукав принялась его осаживать, утихомиривать, пенять ему:

– Да уймись, старый! А то дочка наша сама в людях не разбирается! Она человека-то сердцем видит...

Лена, глядя на них, улыбалась.

5

В Москву вернулся я в вагоне, но на крыльях. И, по мнению Аркаши, поглупевшим.

Чуть не каждый день я принялся строчить и получать письма, бегать на переговорный пункт. А Аркаша... Аркаша был уже далеко не тот, что в начале дасовской житухи. О, теперь Аркадий пользовался в общаге устойчивой и громкой славой полового гиганта. И – заслуженно. Перескочив барьер собственного девства, вкусив и распробовав прелести плотской любви, он кинулся в разгул очертя голову, взялся орошать горячим своим и неизбывным семенем ненасытные лона будущих журналисток и психичек, аспиранток и стажёрок, а также молодых ещё бабёнок из обслуживающего персонала. Аркадий гляделся гренадерски браво, имел шикарные усы, к тому же слыл за буржуина, хотя стипендии не получал – любящие предки-северяне снабжали его преизбыточным количеством денег. Так что Аркаша, вполне весело и беззаботно ёрничая, любил напевать, как бы заочно подтрунивая над деканом журфака Ясеном Николаевичем Засурским:

Я спросил у Ясена: «Где моя стипендия?»

Ясен не ответил мне, качая головой...

И, конечно, мы зажили в комнате нашей не вдвоём, а по формуле-системе $2 + x$, где x (икс) – это постоянно меняющиеся подружки Аркадия. Вечерами и ночами за шкафами, которыми наглухо отгородил свой угол-бордель Аркаша, раздавались причмоки поцелуев, хихиканье, похотливые смешки и сладострастные всхлипы. Аркадий поначалу принялся было приводить-таскать и на мою долю милашек, но вскоре бросил свою затею и уже рад был хотя бы тому, если я не особо ворчал. Правда, я старался сильно-то не брюзжать – не хотелось ханжить и фарисействовать. К тому ж, я взялся всерьёз за учёбу, выматывался с непривычки на семинарах, лекциях, в библиотеке и когда приходил домой уставшим, хлопал – при желании – стаканчик-другой винца (у Аркаши за шкафами застолье не переводилось) и засыпал как младенец, не слыша чавканья совокупающихся рядом тел. А во сне перелетал я к морю, видел белые барашки волн, гомеровские белые колонны Херсонеса и светло-серые девчоночьи глаза...

Перед праздниками – очередным Октябрём – в почтовой ячейке на букву «Н» меня ждала телеграмма: *«Буду проездом Москве шестого пассажирским вагон три встречай Лена»*. Я засуетился, взял у Аркадия займы двадцатку и, встав на колени, умолил:

– Бога ради, Аркаша, друг, освободи мне комнату на

праздник – первый и последний раз прошу! Посношайся где-нибудь на стороне...

Аркаша в положение вошёл, просьбе внял, даже скабрёзно, хмырь развратный, ухмыльнулся:

– Нельзя ли, – пошутил, – в шкаф забраться-затаиться да поприсутствовать при вашем свидании?

Я даже всерьёз психанул:

– Свинья ты, Аркадий! Грязная похотливая свинья!

Аркаша, разумеется, – на попятную. А я ведь и в самом деле ни о чём *таком-этак* и думать не смел. Куда Лена собралась, я ещё не знал, но поезд севастопольский приходит вечером, так что всё равно ночевать где-то придётся. Я, в случае чего, устроюсь на свободной кровати. В случае чего?.. Нет, всё же в подлом моём проститутском нутре, где-то в развращённом подсознании, мелькали и горячие мыслишки: *а вдруг?*.. Чего уж скрывать, от Лены я был без ума во всех смыслах, но пока, в Крыму, да и то только в самые последние дни, мы испытали лишь головокружение и сладость ненасытную от долгих обморочных поцелуев. И я понимал: праздник вдвоём, наедине, праздник с вином и взглядами глаза в глаза, с невольными соприкосновениями и вольными поцелуями...

Я купил, как в Севастополе, три нежно-алых розы, сразу, с подножки вагона, подхватил Лену в объятия, отнёс в сторону от суетливой толпы, прижал к себе, поцеловал в смеющиеся детские губы.

– Лена, куда ж ты едешь? Где твой чемодан?

– К тебе. Чемодан – вот, – она показала свою маленькую лакированную сумочку и вкусно рассмеялась. – Ведь я проездом... в Севастополь. Билет обратный уже в сумочке. Так что два дня и две ночи наши, маэстро!

Ночи?.. Я вмиг вскипел, заклокотал, как переполненный чайник. Но всё же не утерпел, уточнил:

– А как же мать с отцом тебя отпустили?

– А почему они могли не отпустить меня? – Лена всерьёз, с недоумением взидала на меня. – Мне уже восемнадцать, во-первых. А во-вторых, я же им сказала: я еду повидать тебя и побродить по праздничной столице. Что же в этом дурного?

И дурного, действительно, в этом ничего не было. Я отбросил пока все жаркие ненужные мысли на потом: впереди уйма времени – как Судьба повернёт, так и будет. И я, по заранее продуманному плану, помчал Лену на метро к проезду Художественного театра, в полуподвальное кафе «Артистическое» – единственное место в предпраздничной Москве, где можно почти без очереди закусить и выпить. Действительно, у входа в это питейно-питательное заведение толпилось всего человек десять. Уже через полчаса мы с Леной сидели за двухместным столиком, пили шампанское и весело вгрызались в плоских цыплят, поджаренных, как шутили студиозусы, в табаке.

Я парил в невесомости. Лена со своей голубенькой лен-

точкой в светлых локонах, синеньком джемпере поверх голубенького платья обращала на себя внимание многих посетителей мужеска пола и даже не только *нормальных*.

– Ты знаешь, – весело шепнул я Лене, порозовевшей после второго бокала игристого вина, – а ты в своём голубом наряде нравишься даже голубым.

– Кому, кому? – не поняла Лена.

Я рассказал невинной ещё до наивности девчонке, как попал однажды здесь, так сказать, сексуально впросак. В день стипендии или *получки* из дому я позволял себе порой шикануть – поужинать по-барски, на широкую ногу. Впрочем, тогда вполне можно было на червонец посидеть прилично одному в ресторане, а уж в кафешке и вовсе обойтись пятёркой. Однажды я с таким загульным намерением впервые и заглянул в «Артистическое». Я уже читал-знал, как здесь любили отдыхать некогда корифеи старого МХАТа, сидел за столиком, почтительно осматривался, с придыханием поглощал исторический воздух божественного кафе.

Ко мне подсели два парня, заказали себе мадеры, отбивные, яблоки. Начали жевать, выпивать и трепаться. Конечно, чокались и со мной. Один из них – кудрявенький, безусый, с томными глазами и пунцовыми губами бантиком – вдруг начал странно лгнуть ко мне, хихикать, вздыхать, хватать меня за руку и подливать в мой стакан своего вина. Я долго (был ещё тот пентюх деревенский!) не врубался, пока приятель кудрявенького, улучив минуту, когда тот выпорхнул в

туалет, не оглоушил меня: «Я вижу, – говорит, – ты не понимаешь: Шурочка-то мой – педик. Он, поросёнок, втюрился в тебя...»

– Представь, Лена, – хохотнул я, – моё осто́лбенение. Скорей расплатился и – спасаться. Тот Шурик-Шурочка чуть не плачет, в руку вцепился, а я бормочу-вру, будто я жених и меня невеста ждёт... Умора! Потому-то сюда легко попасть – добрые люди стороной обходят.

Лена неуверенно улыбалась – шучу я или рассказываю мерзкую правду? Она принялась робко оглядываться на посетителей.

– Да не бойся ты! – приободрил я. – На женщин они внимания не обращают всерьёз...

Лена поморщилась, не скрывая, что тема ей не нравится. И – поспешила на свежий воздух. Мы допили любовный *полусладкий* напиток и вышли. На улице, блескучей и промозглой от недавней мороси, я помог Лене поплотнее укутать горло шарфиком, притянул к себе, поцеловал.

– Ну, что – ко мне в ДАС?

– Пойдём лучше погуляем, а? Я хочу к Пушкину...

Что ж, мы пошли вверх по Горького к бронзовому Александру Сергеевичу... Потом ещё выше – к Владимиру Владимировичу... Потом с третьей и последней розой побрели по бульварам к Михаилу Юрьевичу... Потом, уже без цветов, к другому Александру Сергеевичу...

Когда до закрытия метро оставался всего час, я не выдер-

жал:

– Лена, Леночка, ну поехали, наконец, ко мне! Уже метро вот-вот... Да и через вахту ночью труднее прорваться – там бабки-церберы такие...

Она подняла на меня свои большие, свои любящие, но печальные глаза.

– Вадим, я не хочу... Я боюсь.

– Меня?! Лена, да за кого ты меня принимаешь? – я вскипел искренне, всерьёз. – Да неужели против твоей воли я чего-нибудь...

– Вот именно, – сурово прервала Лена, – за себя я и боюсь...

Мы бродили по Москве всю ночь. Если бы мне кто раньше сказал, что я способен на такое, я бы только глумливо фыркнул. Однако ж, вот...

На следующий день мы подъехали к ДАСу, прошлись-прогулялись вдоль перемычки под колоннами, как герой Андрея Мягкова в «Иронии судьбы». Я попробовал ещё раз, в последний:

– Лена, ну хоть просто на пять минут заглянем – погреемся, отдохнём, посмотришь, как я живу...

– Вадичка, не искушай, не мучай меня! – с улыбкой, но опять же всерьёз взмолилась Лена. – Не надо спешить – у нас же вся жизнь впереди...

Увы мне, увы! Я смирился. Я один заскочил наверх, обрадовал известием Аркашу, отхватил у него взаймы ещё чет-

вертной, сунул в сумку бутылъ шампанскаго и яблоки – свои припасы к празднику вдвоём, поднадел под пиджак свитер, а пуловер прихватил для Лены: признаться, ночью мы продрогли донельзя – даже поцелуи уже не согревали. Отогреться мы заскакивали на вокзалы.

Я заставил Лену поднадеть мой тёплый пуловер под пальтишко, и мы опять пустились бродяжничать. Я, смирившись, уже с энтузиазмом воспринимал такое необычное и долгое свидание с любимой. Я щедро дарил-показывал ей Москву, которую сам исходил уже пешком вдоль и поперёк. Окончательно убедил Лену бросить свой Львовский институт, куда она поступила поспешно на заочное отделение журналистики, и смело переводиться в Москву...

К исходу вторых суток всё у нас смешалось в головах, как в доме Облонских. Мы бродили, смеялись, болтали, целовались, мечтали, пили шампанское, а я даже и коньяк пару раз, питались пирожками, бутербродами и яблоками, попали на концерт Аллы Пугачёвой в зал «Октябрь», катались на метро и трамваях... А уж стихи... Стихов – и своих, и других *классиков* – надкламировали-начитали столько, что на целую библиотеку хватит.

Часов за пять до севастопольскаго поезда мы всё же не выдержали и переспали вместе – да простится мне этот невольный и пошловатый каламбур. Мы нашли одно свободное местечко в толчее Курскаго вокзала, Лена примостилась у меня на коленях, обняла за шею, я обхватил её родное невесомое

тело, прижал хозяйски-сладко к себе, и мы унырнули в глубокое, тяжёлое, но счастливо-безмятежное беспамятство. Я, скорчившись в жёстком вокзальном кресле, прижимал, сонный, к себе крепко-накрепко спящую красавицу – свою будущую жену. Впереди нас ждало счастье...

В последние минуты, на мокром туманном перроне, Лена, откинув голову, засматривая внутрь меня, наивно и строго декламировала-внушала мне знаменитые кочетковские строки:

*С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них.
И всякий раз навек прощайтесь,
И всякий раз навек прощайтесь,
И всякий раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг...*

Вот пишу сейчас, и всё переворачивается в груди: как я был счастлив!

И – как я мог быть счастлив...

Глава III

Как я сошёл с ума

1

Аркаши дома не было.

На столе красовались початая бутылка грузинского коньяка, тарелки с остатками пиршества. Я отмок в горячей ванне, выпил полстакана «Арагви», проглотил кусочек сыра и бухнулся в постель. Хотел немного помечтать, но не успел – так обвально я срывался в пропасть сна только на первом году в армии.

Очнулся я глубоким вечером от говора и смеха. Окно уже фиолетово меркло. Горела только настольная лампа. За столом сидел Аркаша с двумя пассиями. Они чокались, закусывали, нещадно дымили и травили анекдоты.

– Представляете, – приснул Аркадий, – муж в дверях, а она – кверху ногами... Ха-ха! Тс-с-с...

Он попытался приглушить свой утробный смех и веселье своих балаболок, оглянулся на мой угол. Я хотел нахмуриться, но переизбыток счастья колыхнулся в душе, как вино в бокале, в ушах ещё звенело – со сна, что ли? – имя *Лена*.

– Ничего, Аркаш, – бодро сказал я, потягиваясь, – я уже не сплю. Если дамы позволят, я, с их разрешения, запрыгну в брюки.

– Лена, Валя! – скомандовал Аркадий. – А ну за шкаф на пару минут! Видите, товарищ-ч стесняется.

Лена?.. Ну и ну!

– Да хватит тебе, – осадил я Аркашу. – Девушки, отвернитесь и – все дела.

Девчонки, лупившие на меня глаза, хихикая, отвернулись. Впрочем, хихикала та, что, вроде бы, Валя – пампушечка с распушенной по плечам рыжей гривой. Вторая – маленькая, худенькая, с короткой тёмной причёской-каре – лишь хмыкнула. Потом, когда, уже одевшись и сполоснувшись под краном, я подсел к столу на минуту, я разглядел, что у *этой* Лены – такие же громадные выразительные и тоже серые глаза, правда, один из них, левый, заметно темнее другого. Дурной, говорят, признак – демонический. Впрочем, это когда глаза вовсе разноцветные, здесь же вариации оттенков одного и того же прекрасно-серого цвета. Волосы и овал лица *этой* Лены разнили её с *той*, а то я бы испугался такому сходству. У *этой* лицо было тоньше, с резкими скулами, и губы чуть смазаны, нечётко очерчены. И ещё Лена *эта* была миниатюрнее *моей*: в чёрных вельветовых брючках и белой водолазке, с чуть заметной линией груди, она смотрелась мальчишкой.

– Знакомься, – представил Аркаша, – это наши, журфа-

ковские, с первого курса. Валюха – моя землячка почти, из Норильска. А Леночка – из славного чернозёмного града Баранова. Не знаю, правда, где этот достославный град Баранов стоит. Где, Ленусь?

– Между Москвой и Парижем – пора бы знать пятикурснику университета, – Лена сказала это строго, без тени улыбки.

– Ну, вот и опять выговор! – сделал вид, будто сконфузил-ся дылда Аркадий. – Ленчик, тебе ведь всего восемнадцать годиков – не будь такой строгой, а!

Восемнадцать?.. Что-то многовато совпадений. Я выпил коньяку, пригляделся к ней повнимательнее. Странно, почему я не встречал её на факультете? Хотя, впрочем, у нас на каждом курсе училось по 250 гениев пера обоего пола, так что и не все однокурсники друг дружку *вплотную* знали. Да что уж там говорить о других, если даже именитый Влад Листьев (упокой Господь его душу!) не запал лично мне в память. Когда я увидел его через несколько лет в телеяшике, то начал мучительно припоминать: где же мог я видеть этого «взглядовца»? Батюшки, да мы же с ним однокорытники, на одном курсе – правда, в разных группах – все пять лет учились. Даже на одной коллективной фотографии рядышком стоим. Он тогда ещё не имел славы и не ампутировал основную смысловую часть имени своего, был обыкновенным Владиславом...

«Круто девчонки начинают, – подумал я, поглядывая на

их раскрасневшиеся лица, сигаретины в ярко-алых ртах. – Интересно, которая из них Аркашкина? Или – обе?.. Он вроде пухлявых предпочитает... А чётр! Мне-то что...»

Я ещё клюкнул «Арагви» за здоровье щедрого Аркаши, за красоту благовоспитанных дам и – распрощался. Вернее – уединился. Насколько это, конечно, возможно в единственной комнате. Я пристроился в своей нише к тумбочке, выставил спину столующимся гулякам, засветил переноску, раскрыл тетрадь и принялся изливать на бумагу письмо в Севастополь. Лена, *моя* Лена, ещё в это время мучилась-тосковала в душном вагоне, я представлял себе её бездонные глаза, её милые пухлые, *чётко* очерченные губы, прозрачные пальчики с голубенькими жилочками и крохотными ноготочками, светящимися розово-перламутровым праздничным лаком...

Я писал о том, как я уже соскучился по ней, как я уже жду не дожусь следующей встречи, как я обязательно, я непременно примчусь в Севастополь на скорое уже Новогодье, как мы выйдем, держась за руки, на берег буйного и хмурого зимой моря, и там я брошу в волны целую пригоршню пятиалтынных и гривенников, дабы вернуться в Крым обязательно, вернуться навсегда – к морю, к ней, к Лене. К будущему счастью и блаженству семейной жизни...

За спиной взялись играть в карты.

– Вадим! – вскричал гнусливо подпьяневший Аркадий. – Ну брось ты писанину свою – ещё в газете напишешься по

горло. Иди к нам – Ленке партнёра не хватает.

– Отстань, похабник! – полушутя, но раздражённо отмахнулся я.

– Да не в том смысле, – гоготнул орясина усатая, – в карты партнёр нужен, пока только в карты.

– Не приставай к человеку, – послышался голос *этой* Лены с чуть заметной издёвкой. – Не видишь, человек письмо невесте пишет – дело серьёзное.

Вот гад Аркадий – всё уже разболтал! Я решил не реагировать. Демонстративно склонился над тетрадью, отгородился от циников горбом. Нет, всё же интересно: неужто Аркашка с обеими?.. Чёрт-те что опять в голову лезет!

Письмо я всё же дописал. Финал, правда, скомкал, зачем-то упомянул и про *разных девиц*, мешающих сосредоточиться, и распрощался поцелуем. Запечатал, адрес надписал...

Что же теперь делать – не спать же вновь заваливаться? Тем более, и выпить-закусить ещё хотелось.

Подсел к столу.

Комната наша уже превратилась в коптильню – гости смолили не слабже нас. Я, почему-то с жалостью, подумал: «Эх, ведь и груди-то ещё нет нормальной, а туда же – сигарету за сигаретой». Кстати, у *моей* Леночки, несмотря на стройность и даже сухощавость фигуры, грудь вполне сформировалась-налилась, – это отмечал я жадным взором, когда мы с нею купались в Севастополе, да и, уж признаюсь, в мо-

менты пьянящих поцелуев и объятий уже здесь, в Москве, я давал волю своим рукам...

Вскоре Аркаша, достав последнюю бутылку – уже сухонького, «Ркацителю», – принялся откровенно мне подмигивать: мол, создай условия – подпирает.

– Ого, как поздно, – глянул я на часы, – если кого проводить нужно, я готов сыграть роль галантного кавалера.

Валя со смехом вцепилась в Аркашку:

– А мы тут ещё посумерничаем!

Я пошёл провожать Лену. Она вышагивала впереди меня по коридору странной своей – танцующей – походкой. Так ходят манекенщицы по подиуму. Господи, пацан пацаном. Я далеко не каланча, роста самого что ни на есть среднего, но и то почти на голову выше этой девочки. Туфли её 33-го размера на каблукчиках ничуть её не возвышали. В поясе – перехватить пальцами одной руки можно. Да она, наверное, ещё и не целованная!

Я честно проводил её на третий этаж, собрался распрощаться и пройти на полчасика в зимний сад – пока у Аркадия первый пыл не угаснет. Но Лена вдруг из-под ресниц длинно глянула мне в глаза.

– Зайдём? У нас с Валею никого – соседки на праздник поразъехались.

Я колебался мучительно и долго – секунд десять. Она даже усмехнулась.

– А почему бы и не зайти – тем более, домой меня сей-

час не пустят, — я легкомысленно ослабился, и внутри, в тёмной моей сердцевине, что-то истомно, сладко и тревожно шевельнулось. Лена отперла дверь. Мы вошли.

— Кстати, выпить найдётся — хочешь? — деловито спросила она.

— Давай! — обрадовался я: нет лучшего растворителя комплексов, чем зелено вино.

Хозяйка достала из тумбочки бутылку марочного *крымского* портвейна. В подвздохе у меня защемило. Я молча распечатал вино, разлил по стаканам — себе почти полный.

— За что? — спросила Лена, продолжая пристально в меня вглядываться. Мы сидели рядом на её кровати, стоявшей в нише, точно так же, как и моя, но моя — десятью этажами ближе к небу.

— За любовь, — зло ухмыльнулся я.

— За любовь — с удовольствием! — усмехнулась девчонка, звякнула своим стаканом о мой и, не отрываясь, выцедила.

Я зачем-то смотрел-наблюдал, как вино струится-пульсирует по её прозрачно-белому горлу, выдохнул воздух и залпом, решительно заглотил сладкий напиток, вобравший в себя щедрость и пьянящую силу крымского подсевастопольского солнца.

Не прошло и пяти минут, мучительно скомканных отрывистым разговором, как мы снова с жадностью припали к стаканам — нас словно терзала неутолимая жажда. Голова моя кружилась всё сильнее. Тем более, что и до этого уже

випито-проглочено было изрядно...

Нет, не буду кривить душой и всё сваливать на пресловутого и растреклятого змия – несмотря на забалделость и пьяную эйфорию, я помню всё до последней мелочи. И как мы в первый раз поцеловались – жадно, ненасытно, до боли... И как суетливо, дрыгаясь от нетерпения, срывал я с себя шмотки, а она – уже совершенно голая – лежала под одеялом, смотрела на меня по-кошачьи светившимися в полумраке глазами... И как стонал-пристанывал я в сладкой истоме, изливая в детское ещё лоно её переполнившие меня соки вожделения... И как она совсем не по-детски, уверенно исполняла мелодию чувственной, плотской любви, поражая меня умелостью движений, выплёскивая страсть свою в сладострастных бесстыдных стенаниях...

Я всё помню!

И посейчас, спустя почти пятнадцать долгих лет, явственно я вижу, как впопыхах одевался, напяливал на себя трусы и штаны, уже под утро, а она лежала утомлённая, закрыв глаза; как всполошил-поднял с постели я Аркашку с его ненасытной патлатой профурой; как хлестал себя под душем кипятком и орал сам себе во весь голос под шум водопроводной яростной воды:

– Сволочь! Гад! Блядь ты распоследняя и свинья! Грязный мерзкий скот!..

Я кричал, плевал сам на себя смачными харчками и ещё больше бесился оттого, что при невольном воспоминании о

прошедшей ночи, о теле *этой* Лены, о её столах и объятиях, я ощущал-чувствовал в спинном мозгу горячий укол неизбывного сладострастия.

Резко рванув переключатель душа, я заморозил-остудил себя под ледяным водопадом, затем растёрся до красноты, до ссадин махровым полотенцем, оделся, схватил запечатанное письмо и помчался на почту.

– Вадик, – квакнул из-за шкафа утомлённым голосом Аркадий, – возьми чего-нибудь на опохмелку, а! Бабки есть?

– Хватит пить! – рявкнул я уже с порога и саданул изо всех сил дверь.

2

Уже через неделю мы жили в комнате вчетвером.

Аркашка с Валеёй – за шкафом; мы с Леной – в моей нише. Я был бездарно, болезненно, донельзя влюблён в Лену. Я без неё жить не мог. Есть такой невероятный, сумасшедший накал страсти, когда не в состоянии без любимого человека прожить и часу, изнываешь в тоске. Расставались мы лишь на время лекций да семинаров, и то не всегда – или сбегали с них, или не ходили в *школу* вовсе.

Лена меня буквально ошеломила. И – не только в постели. Вдруг выяснилось, что она медалистка. И вообще – умна и образованна не по возрасту и не по полу. Она, к примеру,

с необыкновенной лёгкостью и без всяких словарей расщёлкивала в пять минут кроссворд, над которым я ломал мозги час целый. Она отличала Борхеса от Маркеса, в подлиннике понимала Киплинга и Олдингтона, могла прочесть экспромтом лекцию о неореализме в кино или о постимпрессионизме в живописи...

К тому же она принялась кормить-закармливать меня горячими домашними ужинами из полуфабрикатов соседней «Кулинарии», связала мне недели за три чудный свитер с глухим моднячим воротом и начала меня, альфонса новоявленного, снабжать сигаретами, хроническая нехватка которых мучила меня сильнее всякого похмелья.

Одним словом, Лену можно было бы назвать совершенством, если бы не два – только два, но существенных – недостатка: она не писала стихов и крайне, до предела, цинично оказалась эмансипированной. Она зачем-то торопилась жить, гнала своих коней вскачь. А кони-то в колеснице её Судьбы были ещё не кони – жеребята...

Однако ж, месяца два я жил как в чадуге: до её эмансипации мне и дела не было, ибо она эту свою эмансипированную раскованность проявляла только со мной. Она влюбилась в меня, как кошка. Точнее и не скажешь. Так что эти два месяца слились для нас в одно непрерывное страстное объятие. Не жизнь – сплошной горячий оргазм.

Сейчас мне даже дико вспоминать иные эпизоды. Зачем-то, например, я ей показал письмо из Севастополя. Она

его, сидя голышом на моей постели и скрестив по-татарски ноги, читала вслух и с хохотом, тряся своими припухшими грудками, комментировала:

– «Здравствуй, смуглый мой ангел!» Во даёт, а! «Ты называл меня при прощании “девочка моя” – как я счастлива!» Ты что, правда так её называл? Негодяй и лицемер! Ха-ха! «Ради всего святого, не забывай меня!» Ого – сильно! «Я знаю – словами ничего не объяснишь, но всё равно напишу их: я люблю тебя!» Нет, посмотрите только. Какая молодёжь нынче пошла – никакой стыдливости: в любви объясняются! А тут что? Так-так... «Хоть не умею, а всё же целую...» Что – и правда не умеет целоваться? Ха-ха-ха! Как интересно! Ой-ой, тут ещё и стишки есть: неужто сама мамзель пишет-сочиняет?

*Что значат все слова, что значат?
Пусть канут все слова в небытиё...
В толпе мелькнуло сказочной удачей
Лицо, похожее немного на твоё...*

– Да-а, прямо скажем – не Ахматова, не Цветаева и даже не Ахмадулина, но что-то есть...

– Ну, хватит! – вырвал я наконец письмо из её рук. – тебе как другу показал, а ты!

– Другу? – съязвила она. – Ты во мне, милый мой, ревность возжечь хочешь – вот и всё. Но я предупреждаю: я – не ревнива, щекотки не боюсь. Хочешь, вон хоть с Валькой

трахнись...

Как раз загремел ключ в двери и в комнату ввалились Валентина с Аркашей, нагруженные свёртками из буфета. Лена и не подумала прикрыться полностью, лишь положила подушку на колени, закурила сигарету.

– Эй, Валюха, Вадим тебя попробовать хочет. Иди к нам, раздевайся.

Валька, дура, прибалдела, взвизгнула:

– Ой, что ты, мне Аркашенька не позволит!

– Позволит, позволит, я пока твоего Аркашу целовать буду.

Аркашка, пень саженный, лупил глаза на розовые сосочки Лены.

– Всё! Перестать! – заорал я в бешенстве. – Расшутились тут!.. Аркадий, есть у тебя чего выпить?

У Аркаши нашлось. Потом ещё сбегали-добавили – закрутилась пьянка ни с того ни с сего. Я пил и пил, и пил, стремясь скорее обрести равновесие. Я видел, я чувствовал, я догадывался – она не шибко-то и шутила. С неё станется и вчетвером покувыркаться в одной постели... Я уже предчувствовал свою погибель.

Тем более, что я уже выпросил-выцарапал из неё признания, исповедал её в прошлых грехах – меня с первых ещё дней ужасно мучила эта её постельная многоопытность. Лена и не собиралась ничего скрывать, рассказывала охотно. Оказывается, невинности она лишилась ещё в пятнадцать

лет. И первым её соблазнителем стал отчим, который всего-то вдвое и обогнал её в возрасте и был у матери третьим мужем. Причём, падчерица сама, первая, влюбилась-втюрилась в нового папеньку, так что никакого изнасилования между ними не было. Мать их однажды застала в самый пикантный момент – дочку чуть не убила на месте, повырывала ей половину кудрей, а того обалдуя-растлителя вышибла прочь, несмотря на свою явную пузатость.

Но Лена уже распробовала сладкий и греховный плод. Оказывается, её маленькое хрупенькое тельце – неиссякаемый источник кипучего наслаждения. Правда, она знала об этом уже давно, но только после уроков греховодника отчима осознала вполне, какую огромную роль играет помощь партнёра в этом головокружительном экстазе.

Следующим у неё оказался сосед по даче, курсантик военного училища. Он отдыхал у родителей, ходил по участку в оттопыренных плавках, тайком поглядывая на Лену, загорававшую у себя между грядками. Лицо у неё основательно прикрывала панама, тело же щедро открывалось из-под двух полосок материи и солнцу, и юнкерскому горящему взору. Мальчишка этот, стриженный и с розовыми ушами, так бы и удовлетворился тайным подглядыванием, то и дело уединяясь, для снятия напряжения, в душевую будочку, если бы инициативу не взяла на себя Лена. Она в удобное безлюдное время затащила будущего доблестного защитника отечества на веранду своей дачи и изнасиловала. Они баловались-иг-

рали в любовь недели две, но Аника-воин этот показался Лене уж таким тупоголовым, вернее (в её духе каламбур) – *тупоголовким*, что она не захотела продолжения дачного романа, хотя парень и служил-учился там же, в Баранове.

А в десятом классе у неё случилась бурная история с учителем физики. Вечером, на факультативе, они проводили-делали какой-то опыт и пережгли пробки. В темноте крошечной этой Бойль, этот Мариотт барановский, ища дверь, случайно наткнулся на Лену, нечаянно обнял, замкнулась какая-то неведомая цепь, и ток вожделения мгновенно сотряс их – учителя и ученицы – тела. Пока остальные мальчишки-девчонки суетились, пищали, искали огонь, этот Фарадей, этот Ом общеобразовательный и Лена успели так нацеловаться, натискаться и возбудиться, что еле дождались затем уединения и устроили короткое замыкание телес – совокупились...

Я старался слушать все эти порномемуары Лены как можно отстранённое, умнее, хладнокровнее: что ж, было так было... Притом, может, она и присочиняет – с неё станется. Я смолил сигарету за сигаретой и вытягивал-выматывал из неё всё новые гнусные подробности. Особенно резанул меня по душе последний её *мемуар*. Я втайне надеялся: ну уж здесь-то, в Москве, в ДАСе, я у неё первый и разьединственный. Куда там!

Буквально на второе утро новой общаговской жизни с ней случилось престранное происшествие в духе «Декамерона».

Она заселилась в комнату первая, спала одна. Вдруг на рассвете какая-то неведомая сила стащила-подняла её с постели, она, словно сомнамбула – с закрытыми глазами, с туманным сознанием, – прошла с вытянутыми руками к двери, повернула ключ, открыла. По коридору мимо проходил именно в эту секунду здоровенный парень. Он, опешенный, застыл: в проёме растворенной двери возникла и маняще замерла девичья фигура в совершенно прозрачной ночной рубашонке до колен. Он, тоже словно по наитию, молча подхватил её на руки, захлопнул за собой каблуком дверь, донёс спящую красавицу до тёплой ещё постели. Когда Лена окончательно проснулась, её уже сотрясали конвульсии оргазма, а полураздетый медведь на ней рычал от неожиданного удовольствия...

Так оригинально познакомилась Лена с будущим старостой своего курса.

– Да я знаю этого вашего старосту – быка стопудового! – вскочил я. – Ты что, и сейчас с ним?

– Хватит тебе! – отмахнулась Лена. – И было у нас всего раза три. Он же женатый мужик, да и чересчур уж здоровый – противно с ним.

– Он здоровый, или *у него* здоровый? – кисло усмехнулся я, хватаясь за сигарету.

– Вот и не буду больше ничего рассказывать! Ты циник и похабник! – рассердилась вдруг она, отвернулась к стенке, стянула с меня одеяло.

Вот тебе и на!

Я угрюмо докурил в одиночестве сигарету, поразмышлял о сложностях и парадоксах жизни, безразмерности и извивах женской души. Глянул на часы – скоро Аркадий с дискотеки привалит да, может, и не один. Он вдрызг рассорился на днях с Валюхой и разыскивал ей замену. Я вздохнул, притушил окурок и приник к узенькой девчоночьей спине моей Манон Леско. Она для блезиру дёрнула раза два лопатками, словно бы уж так и разозлилась, но я настойчиво пробирался и пробирался по глухим потаённым тропочкам, будил-тревожил в ней всё, что можно будить и тревожить в женщине, и – добился своего.

Все размолвки, раздражения, условности, ревности, запреты и глупости разлетелись-рассыпались в мелкие брызги, осталась только горячая, кипящая мгла наслаждения.

Мы любили друг друга.

3

Измену её я начал ощущать случайно, каким-то двадцать восьмым чувством. Хотя определённого ничего не знал. Но дурацкие всякие мысли в голову лезли. Я что-то чувствовал и злился.

Спокойствия, само собой, не добавляло то, что Лена границ приличий абсолютно не соблюдала и даже знать никаких ограничений не желала. Уж как она и что вытворяла в посте-

ли – редко в каком даже самом разнузданном порнофильме увидишь. Я порой даже психовал и всё сильнее пытался её унижить, смутить, выдумывая прихоти, – она лишь приставывала громче от удовольствия. Уже не зная, что и придумать, я однажды, в солнечный день, расчехлил свой старенький «Киев», стянул с неё одеяло и в полушутку предложил: ну, что – попозировешь? И она, нимало не смущаясь, принялась выставлять в бесстрастный объектив свои грудёшки с копеечками сосков, полоску интимную тёмных волос, детский свой пупок, аккуратную кукольную попку. Я щёлкал затвором, снимал кадр за кадром, а сам с тоской и недоумением думал: зачем, ну зачем она это позволяет?..

Катастрофа началась в пятницу вечером, в первые дни сессии. Лена плескалась в ванне. Частенько мы вдвоём купались и не столько мылись, сколько баловались да ласкались. Но на этот раз на меня накатило-нахлынуло вдохновение, я увлёкся, заспешил излить напиравшие стихи на бумагу. Погасла сигарета. Я запустил руку в карман Лениного жакетика в поисках зажигалки и выудил сложенный треугольничком листок бумаги. Первая мысль: записка – мне, Лена забыла отдать. Она, бывало, строчила мне на лекциях письма. Я развернул – листок заполнен двумя разными руками. Я начал читать.

«Ты опасная женщина!» – незнакомый мне почерк.

«Почему?» – а это уже её, Лены, рукой. – *Мне очень хочется понять, почему я сейчас вынуждена разрываться между*

третия мужчинами – судьба это или то, что называется “дорвалась”. Как ты думаешь?»

«“Дорвалась” – это грубо. Просто мятущаяся женщина не знает, чего она хочет. Неужели эти трое такие разные?»

«Да... Один меня привлекает как красивый мужчина с московской квартирой; второй умен, бесспорно талантлив и многого в жизни добьётся; третий – весел, прост, обаятелен и очень хочет жениться. Ах, если бы все эти качества объединить в одном человеке!.. Увы мне! Идеала в природе не существует, а на меньшее я не согласна.»

«Ну, знаете ли! Вы, Елена Григорьевна, мужа ищете или любовника? Если любовника, то можно понять. Мне, например, тоже срочно нужна умная любовница где-нибудь в Бауманском районе г. Москвы. Но если вы ищете мужа, то, извините, с таким меркантильным подходом лучше не выходить замуж...»

На этом мерзопакостная переписка обрывалась краем листа. Я прыгающими руками высек из зажигалки огонь и до захлёба глотнул горького дыма. Так-так-так!.. Ну, умный и талантливый – я... А этот москвич красивый? А этот весельчак, видимо, тоже общаговский, который жениться шибко хочет? Да ещё этот неведомый хренов исповедник-моралист с соседней парты... Кто они? Да неужели она со всеми ними тоже сношается? Господи, убить её, что ли?!

– Вадя, Аркашки нет? – послышался её невинный голос.

– Нет, – просипел я и прокашлялся.

Она вышла из ванны нагишом, перекинув рубашку мою, употребляемую вместо халата, через плечо и продолжая сушить волосы полотенцем.

– У-уф и жарница! Ну, подобрал рифму к слову «розы»?

Я смотрел в её бесстыжие зенки, стараясь не видеть её голого тела, и не мог произнести ни слова. Я вдруг почувствовал-понял – я могу даже заплакать. Я молча протянул ей похабный листок. Она взяла его двумя пальцами, взглянула, чуть смутилась и швырнула на стол.

– Ну и что? Лицо-то, лицо-то сделал – Отелло! Да ты что, Вадь, совсем псих, да? Шуток не понимаешь? Делать нечего было на консультации, вот и забавлялась, придумывала всякое... Дай-ка лучше сигарету.

Я смял почти полную пачку «Явы», шмякнул об пол.

– Кто. Такой. Этот. Москвич. С квартирой. А?!

– Перестань! – уже всерьёз попросила она, натягивая поспешно одежду. – Я думала – ты умнее.

– Нет! Не-е-ет!! – взревел я, хватая её за плечо, сдавливая железно косточки. – Ты скажешь мне всё! Кто этот «обаятельный» жених? Кто, я спрашиваю, ну?!

Ещё чуть и я впервые в жизни ударил бы женщину кулаком по лицу. Я ненавидел её до бешенства.

Но тут в комнату влетел Аркадий.

– О, пардон! – он сделал вид, будто сконфузился.

Лена, медленно, вихляя задком, натянула до конца брюки, презрительно хмыкнула:

– Ничего, Аркаш, Вадим Николаевич не из ревнивых – смотри на здоровье. Впрочем, я уже ушла. Гуд бай, май лав, гуд бай!

И – ушла. Я в уже захлопнувшуюся дверь крикнул фальцетом:

– С-с-сука!

– Все они – суки, – философски заключил Аркадий и предложил. – Ну, что, надо бы скинуться? Чего-то тоскливо и скандально на душе.

Аркашке в последнее время не везло с бабами: после Вальки-профуры он так и не мог пока подобрать себе партнёршу по душе и по телу.

Ух и надрызгались мы с ним в тот вечер – до положения риз. В пьяном угаре я, помню, жирно реготал и вскрикивал от радости: мол, вот она – свобода! А то совсем голову потерял, дурак! Да было бы из-за кого! Шлюшка маломерная! Акселератка с диагнозом – бешенство матки! Проститутка малолетняя!..

– Такоси! Такоси! – непонятно на каком диалекте поддакивал-соглашался Аркаша.

– Аркадий, друг! – вопил я, обнимая товарища. – Нам о дипломе надо думать! Пора прощаться с этим борделем по имени ДАС!.. *Да-с*, Аркадий, а? *Да-с*?

– Такоси! Такоси! – лепетал уже тёплый Аркадий, никак не воспринимавший мой замечательный каламбур.

«Чёрт с ней! Пускай с кем хочет трахается!» – трезво по-

думал я, проваливаясь в пьяный угарный сон.

Счастье не в *трахе*!

4

И вообще – человек сам кузнец своего счастья!

Я настолько был взбешён и серьёзно настроен, что, опохмелившись с утра пивком, заботливо припасённым Аркашей, побежал на почту и послал редактору «Славы Севастополя» депешу: «ПРОШУ ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ НА МОЁ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАШУ ГАЗЕТУ ВАДИМ НЕУСТРОЕВ».

Когда я возвращался в общагу, прихватив в торговом центре «Черёмушки» бутыль крымского портвейна, я столкнулся на вахте с ней, с Леной. Я скрутил себя, смял, заставил пройти мимо и молча. Она приостановилась было, но тут же вздёрнула нос и зацокала каблучками сапог, ушла, не оглядываясь.

Впрочем, голова моя в тот момент разрывалась ещё, помимо похмелья, и от другой заботы. Я налил другу Аркадию полный стакан доброго портвеша и попросил оставить меня на часок одного. Предстояло тяжелейшее дело – написать письмо Лене *той*. Я, как последний свинтус, трусливо не ответил на два её послания, всё оттягивал. Больше того, она вызвала меня на переговоры, я не пошёл...

Как же теперь? Что написать? Как оправдаться? Ведь это было наваждение. Ведь не собирался же я жениться на *этой*?.. Нет, конечно! Всё равно рано или поздно всё бы кончилось... Мне нужна *та, та* Леночка! Милая, родная!.. А что если написать, будто срочно домой ездил – там несчастье... А что там, дома-то, случилось?.. Ещё накаркаю! Нет, надо писать всё как есть. Лена, *та* Лена, она же умница и у неё сердце умное. Она поймёт и простит. У неё же душа – ангельская... Как же писать-то?..

Когда бутыль опустела, в голове у меня творился шамрам-бурум, а на листе бумаги – ни строки. Ладно, завтра переговоры закажу – по телефону легче объясняться. Или вот что: рвану-ка после сессии в Севастополь и – все дела! Стало чуть уравниловнее на душе, а тут и друг Аркадий подоспел с какой-то новой чувихой, загомошился праздник знакомства устроить, деньги из портмоне достал. Что ж, я согласился прогуляться до магазина, пока эти голубк*и* поближе познакомятся.

Потом мы пили. Девчонка эта – Анжелика вроде? – уже высасывала из Аркаши поцелуями все соки, я их лобзания одобрял-приветствовал. Они вскоре рысцой рванули в туалет-ванную – так уж им невтерпёж приспичило, а я сел на свою (на нашу с Леной!) койку, обхватил голову руками и подумал: ну и что?..

Тоскень и неуютъ. Я задел что-то пяткой, нагнулся – её старенькие, домашне-общаговские тапочки с помпонами.

Малюсенькие донельзя – кукольные. Я схватил их, пьяно всматриваясь в темнеющий отпечаток её ноги на светлой стельке, и вдруг приник жадно, вдохнул, ища знакомый запах, и начал целовать, целовать, целовать...

Из ванной доносились то вскрики, то хохот. Я рванул дверцу шкафа, содрал с плечиков белую рубашку, повязал галстук, напялил парадно-выходной и единственный свой костюм-тройку, торкнулся в ванную.

– Эй, ребята, прервитесь на минуту – мне срочно!

Они вывалились – раскрасневшиеся, весёлые, взбудораженные.

– Подпёрло? – подкузьмил по-свински друг Аркаша.

– Да ну тебя! – мне было не до шуток.

Я быстренько почистил зубы, тщательно причесался и решительным шагом потопал на третий этаж. Постучал в 307-ю.

– Да, войдите, – её голос.

Я вошёл. В комнате было двое – Лена и какой-то вахлак нечёсанный в узеньких синих очках, залатанных джинсах и майке с четырьмя портретами и надписью «THE BEATLES». Лена – в своём милом изящном комбинезончике вельветовом. Всё чин-чинарём, скромно – сидят, чай пьют. Она мне вдруг, против ожидания, страшно обрадовалась, вспыхнула. И я вместо того, чтобы опять взревновать и на дыбы подняться, возликовал и воспарил.

Мне был предложен стакан чаю. Я с церемонной благо-

дарностью его принял и, прихлебывая сей благородный напиток, вступил в светскую беседу. Мальца патлатого задавил я в пять минут. Он чего-то вякнул там про экзистенциальное понимание жизни, упомянул Жан-Поля Сартра, блеснув при этом умно очочками. Ну я и выдал!

– А вы помните, ещё Гуссерль был не совсем прав, утверждая, что жизнь есть существование? Не вполне согласен я и с Кьеркегором, считавшим жизнь выше существования. И уж совсем не прав Ортега-и-Гассет, отрицавший жизнь вне существования. Мне кажется, ближе к истине Монтень и наш блаженной памяти отец Павел Флоренский, которые утверждали: жизнь есть жизнь.

Я глянул проникновенно в глаза очкарику и утвердительно спросил:

– Надеюсь, вы согласны?

Тот, бедолага, уловив издёвку, занервничал, взялся что-то лопотать о многомерности философии общения. Лена, нимало его не стесняясь, подошла ко мне, обхватила голову мою руками, улыбнулась глаза в глаза, сочно поцеловала в губы и прижала лицом к груди.

– Умница ты моя!

Парнишка моментом куда-то слинял.

– Это тот, который очень хочет жениться?..

– Да ну его! – досадливо прервала Лена. – Ещё молоко на губах не обсохло... Пойдём к тебе, а то соседки сейчас припрутся.

Аркаши с Анжеликой, хвала аллаху, не было. Мы разделись, быстро, нетерпеливо, как в первый раз, и нырнули в постель. От блаженства, от счастья, от неожиданности случившегося я чуть не терял сознание.

– Лена! Леночка, я люблю тебя! – бормотал я непривычную для себя фразу, и я говорил правду.

Когда мы, истомлённые, лежали, откинув одеяло, и курили в темноте, Лена меня убила.

– Ты знаешь... Могла бы не говорить, но скажу: я ведь тебе изменила.

– Ха! Ну и шуточки!

– Какие шуточки, – голос её был твёрд и ровен. – Я вчера, после *концерта*, что ты мне закатил, ужасно разозлилась, взяла, да и позвонила тому москвичу с квартирой. Его Максом зовут, он с третьего курса. Он давно уже в гости приглашал, клеился. Обрадовался, конечно. Ну, я и поехала. Вот и всё.

– Как всё! – подскочил я на постели. Её будничным тоном ставил меня в тупик. – Ты что же, прямо так сразу и отдалась ему?

– Почему сразу. Сначала коньяку выпили, потом слайды начали смотреть, на потолке – легли для этого... Ну и... Что ты как маленький!

– А родители? – я всё ещё не хотел смиряться.

– Какие родители? Парню двадцать шесть уже – один живёт.

Я отвалился на подушку и принялся бурно, по-киношно-му, дышать. Я не знал, что надо делать – опять разбежаться-рассориться?

– Ну, зачем, зачем?

– Сам виноват. Учти, ещё раз концерт мне закаташь, я и вот этому рохле Федюне отдамся – будешь знать!

– Но как же, как ты теперь собираешься, а? И с тем, и со мной? – я уже городил-спрашивал всякую чушь, голова не соображала.

– Да за кого ты меня принимаешь? – поджала она губы. – Он оказался грубым и *здоровым* мужиком. Представляешь, с первого же раза начал переворачивать меня, сзади пристраиваться... Тьфу, вспоминать противно!

Я заскрипел зубами, приподнялся на локте, пытаюсь увидеть-рассмотреть в густом полумраке её глаза. Сердце моё колотилось от бешенства – это уже запредел. Говорить что-либо – бессмысленно. Бесполезно. Я опять откинулся навзничь, зажмурил глаза, стиснул зубы и принялся задавливать-давить злые позорные слёзы. Проклятье! Ну зачем свела меня Судьба с такой... такой... И заставила её любить...

Я понял-убедился окончательно и бесповоротно: я её люблю! Чёрт побери и её, и меня, но я её люблю!

Люблю постыдно и клинически.

На этот раз роман наш безоблачный не продлился и трёх суток.

Выпадает порой такой чёрный день в жизни человека, когда всё идёт с утра кувырком да наперекосяк, и к вечеру утверждается в душе одно только желание – удавиться или вены вскрыть. Утром, спозаранок, мы рассорились с Леной из-за пустяка: оба спешили на факультет, взвинтились – она меня подъязвила, я подпустил ей «дуру». Поехали в школу порознь.

Мне в этот день предстояло сдать зачёт по научному коммунизму и экзамен по истории советской литературы. Если за экзамен я не волновался, то зачёт дурацкий заранее бесил. Ну и, конечно, попался вопросик ещё тот: «*”Малая земля” Л. И. Брежнева – новый этап в развитии теории и практики научного коммунизма*». Преподаватель – деловой доцент со странной фамилией Локон – на семинарах позволял себе усмешливые комментарии к преподаваемому им предмету, но во время сессий его как подменяли: в зануду превращался, гад.

Я всё же попробовал отвитьнуть.

– Геннадий Семёнович, – конфиденциально, косясь на второго экзаменатора, предложил я, – вы же знаете, что я просмотрел этот *шедевр*, содержание знаю – давайте не бу-

дем время тратить, а?

– Нет-нет, – с ухмылочкой, но вполне деловито оборвал Локон, – попрошу подробнее и с собственными выводами: в чём же состоит эпохальное значение произведения товарища Леонида Ильича Брежнева?

Сволочь конъюнктурная! Пришлось мямлить-пересказывать, припоминать подвиги полковника-стратега – вымучивать зачёт. Эта дурацкая «Малая земля» уже в который раз меня достала!

Ещё когда я после первого курса проходил практику в многотиражке ЗИЛа «Московский автозаводец», случился политический анекдот. Буквально на третий день практики дежурный по номеру попросил меня посмотреть-сверить вместо него оттиск одной полосы – ему позарез приспичило отлучиться в рюмочную. Я и посмотрел, я и сверил. Как раз на этой странице тискалось начало этого эпохального шедевра советской соцреалистической литературы: перепечатывали «Малую землю» якобы по бесчисленным горячим просьбам тружеников завода. Я принялся читать врезку от редакции, и глаза мои ополтинились: *«посредственный участник Великой Отечественной войны товарищ Леонид Ильич Брежнев делится своими воспоминаниями...»*

Я кинулся к своему заводу, а тот от души всохотнул: эх, мол, чему вас только на журфаке учат – деревня! Там же частица «не» будет – «непосредственный» – и её, эту частицу, позже, ручным набором вставят. «Фонарик» называется

на журналистском сленге – запомни, мол, студентик...

На следующий день зиловские работяги развернули родимую многотиражку и кто со страхом, а кто и с наслаждением узнали-вычитали о «посредственном участнике» минувшей войны. Редактора «Автозаводца» разжаловали в *простого* парторга цеха, ответсека и того дежурного рюмашечника турнули из партии и с работы. А я потом жарко доказывал на факультете, что я не верблюд...

Мои надежды на очищающий экзамен меня подбадривали. Литературу я всегда сдавал с ходу и на «отл.». Вот и на сей раз, мельком глянув на вопросы, я тут же вызвался отвечать. Экзаменаторша – сухая, без определённого возраста и без ярко выраженных половых признаков дама, известная в узких кругах *литературоведка* Полина Абрамовна Серая – слушала мои рассуждения о борьбе литгруппировок в 20-е годы вполуха, записывая что-то своё в тетрадь. Когда же я перешёл ко второму вопросу – «*Поэзия Н. Рубцова в контексте времени*» – вдруг оживилась, заволновалась, принялась сбивать меня. Да что случилось-то? Я начал сам горячиться, доказывать своё, но ей ответ мой явно не понравился.

– Вы слишком преувеличиваете талант этого поэта, – наконец сухо подытожила докторша филнаук. – Он далеко уступает, например, Пастернаку или Мандельштаму. Журналисту необходимо разбираться в поэзии.

– Но как же! – вскричал наивно я. – При чём тут Пастернак с Мандельштамом? Хорошие поэты! Но в связи с Руб-

цовым сразу всплывает в памяти имя Сергея Есенина, его «тихая» поэзия...

– Это у Есенина-то *тихая* поэзия? – голос околелитдамы стал ещё суше. – Довольно.

Она склонилась над моей зачёткой и нервно что-то в ней накорябала. Я взял, глянул – «хор.».

– П-п-позвольте, – я даже начал заикаться, – но у меня никогда по литературе не было четвёрки – это невозможно!

– Теперь есть, – она смотрела на меня холодно и даже с ненавистью.

И вдруг до меня дошло, я понял сердцем: не меня она так ненавидит – Рубцова с Есениным! Вот тебе и профессор русской литературы...

В ДАС я приехал с огнетушителем «Кавказа» в портфеле. Аркадий уже кейфовал дома – довольный и вполпьяна: огрѐб зачѐт по коммунизму и привычный трояк по лит-ре. Гуляй, ребята! Ленка пока не появлялась, да я и предчувствовал – ссора-обида опять затянется, и сегодня Елену Григорьевну вряд ли стоит ожидать. Да и дьявол с ней! Где-то задержалась и Аркашина Анжелика – . Мы пустились в загул вдвоём.

И вот тут я получил оглушительный, жестокий удар ниже пояса... В прямом смысле! У меня вдруг обнаружилась-проявилась *глазная* болезнь: приспичило отлить паршивый ядовитый «Кавказ», и только я приступил к процедуре – глаза мои от боли полезли на лоб. Я глянул на себя в зеркало этими выпученными идиотскими глазами и мгновенно по-

нял – влип. Это точно, как ещё её именовали в студенческом фольклоре, – птичья болезнь: не то два пера, не то *три пера*.

Я взвыл. Кинулся из ванной к Аркаше: что делать? Как быть? Аркадий был по этой части уже дока: он вместе с первым опытом любви подцепил тогда, на первом курсе, от мясистой Лизаветы и *подарочек*. Аркаша осмотрел-обследовал меня и философически резюмировал:

– Мужик всё должен испытать. Да-а-а... Теперь слушай сюда: первым делом – пить нельзя. Ни грамма! А завтра – к Лазарю Наумычу в диспансер.

Я кинулся искать эту стерву. Клянусь, я бы тут же на месте убил её! Но Бог её в тот вечер спас – она не ночевала в ДАСе.

На следующий день, прибежав из больницы, уже с первым бициллиновым зарядом в заднице, я ворвался в 307-ю. Она спала сладко, уткнув нос в подушку. Я сдёрнул одеяло.

– Одевайся!

Девчонка-соседка из своего угла молча испуганно смотрела. Эта же тварь попробовала куражнуться: спать, мол, хочу – отстань.

– Одевайся, – без крика, страшно повторил я.

Лицо моё, я чувствовал, побелело насмерть. Она испугалась. Молча вскочила, накинула халат. Я схватил её цепко за руку, поволок из комнаты, по коридору, вверх по лестнице – она чуть не падала, теряя сабо. Встречные дасовцы шарахались от нас. Я отпер дверь, втолкнул её в комнату, повернул ключ на два оборота, скрестил руки на груди и молча начал

на неё смотреть. Она вдруг испугалась всерьёз, прижалась лопатками к шкафу.

– Ты чего, Вадь? Я у родственников ночевала... Правда, правда!

Я разлепил пересохшие губы, прохрипел:

– И ты на этот раз от родственников уже сифилис мне привезла?

– Какой сифилис? – распахнула она глаза. – Ну и шуточки!

– Шу-точ-ки?! – взревел не своим голосом я и схватил со стола прикрытый газетой охотничий складной нож. Мы им безобидно чистили картошку и резали хлеб, но лезвие у него мощное, широкое – убойное.

– С-с-сука! – я наотмашь замахнулся...

И в этот миг я увидел её глаза – заспанные, ненакрашенные, детские, переполненные недоуменным страхом. Она смотрела почему-то не на лезвие, а прямо мне в лицо. Бледность высветлила скулы. Рот её начал приоткрываться для последнего предсмертного крика...

Что-то дрогнуло во мне. Но движение руки уже началось, *убийственный* удар остановить уже было нельзя.

Я дико взвизгнул, бросил левую руку, ладонью вниз, на плоскость стола и – ударил.

Нож с хрустом вошёл в мою плоть, пробил её насквозь, пригвоздил к дереву. Брызнула кровь.

Я тупо смотрел на перламутровую рукоять – она покачивалась.

Лена вскрикнула и закрыла лицо руками.

Глава IV

Как я потерял и руку, и голову

1

Утром, уже в девять, мы с ней были в вендиспансере.

Всю дорогу, два квартала, вышагивали молча: я впереди, она сзади. Я знал: теперь я не скажу с ней ни слова, ни полсловечка что бы ни случилось – уже бывали в моей жизни случаи, когда неделями я, психанув, не разговаривал с родной матерью. Я ещё накануне замолчал, когда она, Лена, бросилась было ко мне с лепетом, слезами, руку раненую хватать начала. Я только процедил: «Завтра к девяти идём в больницу вместе», – и вывел её за порог.

В коридоре венерической лечебницы, несмотря на столь ранний час, уже толпились жертвы своего темперамента обо-его пола. Я сел в мужскую компанию-очередь, Лена пристроилась напротив, среди баб, бабёнок и девах. Там сидели су-чонки и моложе её – совсем школьницы-семиклашки. Впро-чем, кожных хворей на свете немало, бывают заразы и *безра-достные*. Лена сидела, уткнувшись взглядом в затёртый пол, уши её горели. Она была без косметики, гладко причёсана, в

длинной тёмной юбке, белой кофточке с глухим воротом: ни дать ни взять – воспитанница института благородных девиц. Над её головой яркий плакат с голой грудастой проституткой предупреждал: *«Не соблазняйся – пожалеешь!»* Груды простипомы с чудовищными сосками были почему-то ядовито-фиолетового цвета – и орангутанг пьяный вряд ли соблазнился бы.

В руке моей пульсировала боль. Ладонь, туго спеленатая бинтом, густо благоухала «Шипром». Перевязку мы с Аркашей делали ночью, уже под утро, так что йод или зелёнку искать – не то время, да и недосуг. Из-под повязки торчали лишь кончики пальцев. Я мог шевелить только большим и мизинцем, безымянный же, средний и указательный распухли и горели огнём.

Два мужика рядом со мной разговорились. Я прислушался, отвлекаясь от корявых дум и боли.

– Хе, да я уж восьмую ходку делаю, ветеран здешний, – весело, с аппетитом жаловался худой, похожий на слесаря-алкаша. – Прянь напасть какая-то: как залезу на новую бабу, так глянь и – закапало. Уж не повезёт, так и на родной сестре триппер словишь...

– Ты што, с сестрой родной, што ли? – раззявил рот губастый и упитанный его собеседник.

– Со сродной! Совсем, «што ли»? Поговорка это такая, про сеструху-то... А ты чего, тоже с *этим*?

Губастый скривился, вздохнул.

– Эх, если б! Я бы от радости сплясал щас... Сифон у меня проклятый. Никак не отцепится. Нахрадила одна стерва ещё в позапрошлом ходу – вот и маюсь. Всехо-то разочек и трахнул её, а вот... Хадина!

Я непроизвольно отодвинулся от сифилитика, с содрогающим подумал: «Чёрт, а ведь и мои анализы ещё неизвестно что показали... Как оглоушит сейчас Лазарь Наумыч, обрадует...»

Старый циник упёр в меня свой чудовищный рыхлый багровый шнобель и брезгливо поинтересовался:

– Привёл свою коханую?

– Привёл, – буркнул я.

– Зови, а сам подожди за дверью.

Я вышел, кивком позвал Лену. Она суетливо, жалко припоскочила, заспешила под взглядами очередей в кабинет.

Минут через десять она выскользнула обратно и так же, опустив очи долу, пошла по коридору к лаборатории.

– Ну, рассказала она – от кого? – спросил я Лазаря Наумыча, хотя и так прекрасно всё знал.

– А вот это, молодой и влюбчивый человек, есть врачебная тайна. Ты вздумаешь укокошить соперника, а мне – грех ненужный на душу.

Укокошить?.. Ха! Мне и в голову не приходило...

Однако ж, когда, закачав в мышцу ещё одну порцию антибиотика, я шагал обратно в ДАС, бросив бывшую возлюбленную в заразной лечебнице, я всерьёз задумался над сло-

вами старого еврея. А что, действительно, я ведь сильнее всех и пострадал. Взять вот, да и садануть быка этого московского, сынка номенклатурного ножом под дых... Или хотя бы морду ему отшлифовать...

Впрочем, одному-то где мне: судя по её описаниям, этот третьекурсник Макс Мельник, которого я сразу переименовал почему-то на немецкий лад Мюллером, – был здоровёхонек. Меня особенно бесило даже не то, что хмырь этот, как выражаются на востоке, испил из моего кувшина, а – его *сынковость*, его квартира, подаренная ему папашей, райкомовским кабаном, его несомненная спесь: уж, конечно, он махрово презирает таких, как я, – сырых и убогих дасовцев.

«У-у-у, сволочь! Точно – убью!» – потешил я себя мечтаниями, разгребая промокшими насквозь сапогами снежно-грязевое месиво московских мостовых и придерживая правой рукой горящую в огне боли левую. И главное гадство – выпить нельзя, а как без этого наркоза иначе можно уравновеситься?

На следующий день Судьба решила щекотнуть меня, проверить на вшивость. Я томился в очереди за уколом, когда приоткрылась дверь кабинета, и медсестра, презрев все и всяческие врачебные тайны, завопила на весь коридор:

– Мель-ник! Мельник есть?

Я вскинулся: по коридору ко мне стремительно приближался этот негодяй. И вправду – Мюллер: массивный наглый нацистский какой-нибудь унтерштандартенфюрер. На-

кануне, сладко мечтая о мщении, я знал-надеялся, что всё это произойдёт нескоро – вот-вот каникулы, да и пока рука подзаживёт... И вот, пожалуйста, надо резко принимать решение, вскакивать, размахиваться, бить его по харе...

Очень получилось бы зрелищно!

Он прошествовал мимо, мельком глянув на моё, не знакомое ему, лицо. По виду его можно было подумать – идёт он не в кабинет венеролога триппер свой демонстрировать, а на трибуну комсомольского собрания – речугу толкнуть...

ТЬфу на тебя, морда фашистская! Провались и ты, и *она* вместе с тобой!

Суки заразные!

2

Наш *Дом активного секса* в каникулы опустел.

Укатил по путёвке и мой Аркаша – в подмосковный студенческий лагерь. Тоска – хоть взвой. Беспокоила рука, но больше душа тревожилась. Без спасительного «Кавказа» как бы и впрямь не начать себе вены потрошить.

Я то и дело натыкался на её вещи, ненужно каждый раз волнуясь. У меня осталась целая коллекция: махонькие тапочки, гребешок, зажигалка газовая, первый том «Опытов» Монтеня...

Я уж не говорю о записках и фотографиях. *Тех* фотогра-

фиях. Я отпечатал тогда всю плёнку, 36 кадров, словно сделал колоду порнокарт, и в двух экземплярах. Не знаю, как распорядилась своей колодой она, я же сразу выбрал-оставил пять её изображений – самых художественных и качественных, остальные уничтожил. Хотел теперь изрезать и плёнку, но зачем-то решил оставить-сохранить. Зачем?.. А затем, чтобы сладко и ядовито помечтать в пьяном угаре, как однажды, когда она будет счастлива с другим, остепенившейся матерью семейства, я, страдающий, брошенный, презираемый, – предъявлю-вытащу из тайника эту плёночку и посмотрю, как изменится она в лице.

Просто посмотрю и – всё...

Я ходил из угла в угол по комнате часами – в тишине, в одиночестве – и, укачивая больную руку, всё думал, вспоминал, размышлял. Пора уже нагрелась и за диплом вплотную садиться, и преддипломную практику проходить, и с распределением конкретно решать. В самом деле – не ехать же в Севастополь. Или всё же – в Севастополь?..

Голова бастовала.

Руку тревожить я старался как можно реже, перевязывал через день. Сначала, приседая от боли, обжигал рану одеколоном, потом купил мазь Вишневского. Ладонь припухла. Всё туже распиралась пульсирующей болью. Пальцы по-прежнему не шевелились. Видно, дурацкий нож задел, а может и вовсе перерезал сухожилия. Тогда мне светило до конца жизни ходить с растопыренными пальцами...

И вот тут, дурак, вместо того, чтобы помчаться в поликлинику, я, только лишь завершился мой укольнично-бициллинный курс, на последние рубли купил билет, отстучал телеграмму и помчался от тоски московской к родному дядьке, полному моему тёзке – Вадиму Николаевичу, в славный хлебосольный город Ворошиловград. Поживу, решил, у родичей недельку, откормлюсь на домашних харчах, попою горилки – уже можно теперь. Да и над дипломом посижу, ведь в тамошней библиотеке наверняка найдутся мои любимые поэты. Тему я взял самую что ни на есть творческую и от журналистской практики далековатую: *«Общность интонации в поэзии Сергея Есенина и Николая Рубцова»*. Я уже и тогда предполагал-предчувствовал: газетная подёнщина – всё же не мой хлеб.

Но уже в поезде, ночью, мне стало очень и очень неприятно. В плацкартном вагоне натопили так, словно эта была передвижная баня, и я себя на второй полке чувствовал доподлинно, как на полке. Порою я всерьёз воображал, будто еду, как и мечтал совсем недавно, в Крым. Там ждут меня родимые дивные очи – огромно-серые, бесхитростные. Плещет море... Вдали, у самого горизонта, движется белый пароход... Над волнами – чайки... Возле берега выпрыгивают из моря два ласковых дельфина, весело кувыркаются... Мы с Леной, *той* Леной, взявшись за руки, заразительно смеёмся...

Внезапно море темнеет, застывает, мертвеет. По нему,

прямо из-под наших ног, скользит огненный пунтир – стремительно, целенаправленно, страшно – и вонзается в корабль: словно в гигантском игральном автомате под названием «Морской бой». Взрыв! Белый корпус разламывается, оседает, погружается в кисельную морскую муть. Совсем близко от берега покачиваются белыми брюшками вверх мёртвые дельфины. Лена впивается в левую мою ладонь острыми ногтями – до нестерпимой разрывающей боли...

Страхивая душный кошмар, я бьюсь лбом о третью полку, прихожу в себя, отдуваюсь, свешиваю голову вниз. Мои попутчики-соседи, разметавшись от жары, храпят, бормочут, вздрагивают, – переживают свои сонно-дорожные кошмары. Рука болит, на душе, как за окном вагона, – мрак и темь...

Жена дядьки, хлопотунья Надежда Михайловна, всю войну оттрубила фронтовой медсестрой. Она тут же, за столом, когда ещё не закруглился обильный празднично-встречный завтрак, чуть не насильно размотала мою руку, глянула сквозь толстые очки на рану, которую я, якобы неосторожно, нанёс себе во время игры неведомой, и заволновалась. Да и то! Я и сам напугался: ладонь чудовищно распухла, вокруг раны блестящая натянутая кожа зловеще потемнела. Тётя надавила пальцем, послышался явственный и какой-то нежный хруст – словно потрогали-помяли папиросную бумагу.

– Температура есть? Озноб? Понос? – вцепилась в меня Надежда Михайловна. – Как ночь спал? Аппетит какой?.. Впрочем, аппетит, вижу, пока есть, слава Богу. Температуру

сейчас замерим... Но, голубчик, в любом случае – немедленно к врачу. Срочно! С антоновым огнём, милый мой, шутки плохи.

– Это гангрена, что ли? – сник я. Вот и произнесено страшное роковое слово, которое пытался вытравить я из своего сознания, забыть. – Вы преувеличиваете, тётя.

– Если бы! На-ка вот градусник под мышку, да почитай пока.

Она подсунула мне толстенный фолиант медицинской энциклопедии. Я посмотрел:

Гангрена – омертвление органа или его части в живом организме при нарушении кровообращения... При этом ткани подвергаются гнилоственному распаду. Чаще всего кровоснабжение нарушается в результате механического разрушения питающих сосудов – ушибов, размозжения, разрывов... (Ничего себе словечко – размозжения!) Различают сухую и влажную гангрену... Поражённая гангреной часть тела увеличена в объёме, имеет синеватый, сине-чёрный или чёрный цвет, а в случае присоединения гнилостной инфекции – бурый или зелёный... Резкого отграничения мёртвых тканей от здоровых не отмечается, и гангрена быстро прогрессирует. В организм всасываются продукты гниения и разложения, что ведёт к общим тяжёлым реакциям: повышается температура, возникают потрясающие ознобы (потрясающие – во звёрнуто!), нарушается функция кишечника, про-

падают сон, аппетит, язык сухой, появляются вялость, заторможенность. Всё это создаёт смертельную угрозу для жизни больных. Требуется экстренное хирургическое вмешательство...

Да-а-а, не слабо!

Я глянул на градусник: чуть есть – 37 и 8. Впрочем, организм мог подогреться от доброй порции горилки. Вялости и заторможенности вроде нет, но это опять же – следствие домашней перцовой настойки...

Но, нет, хватит себя обманывать: я знал и понимал трезво – действительно, уже срочно требуется постороннее хирургическое вмешательство в мои внутримышечные воспалительные дела. Видно, во мне и вправду начался *гнилостный распад*. Бр-р-р! Я криво усмехнулся:

– Тётя, это значит – мне руку оттяпают?

– Не знаю, – сурово отказалась от обезболивающих слов бывшая фронтовая медсестра, – могут и, как ты выражаешься, оттяпать. А могут и просто прочистить хорошенько рану.

– И сколько же, в лучшем случае, я проваляюсь в больнице?

– В лучшем – месяц, а то и два, а, не дай Бог, осложнения пойдут, то и больше.

Я сидел как оглушённый. Вообще не люблю жёстких ситуаций в жизни, а тут прямо в острый угол Судьба меня загнала. Мало того, что рискую руку потерять (чему я, впро-

чем, ещё не верил и верить не хотел), так вдобавок диплом сорву, год потеряю. Да и представить себя в больничной палате в чужом городе, среди чужих, среди старичья...

– Я – в Москву! – вскочил я с кресла.

Дядька с тёткой враз и дружно замахали руками. Вадим Николаевич любил меня, да и подумать было ему больно, что лишится он внезапно и так вдруг ежедневной и законной чарки за обедом и ужином.

– Да типун тебе, Вадя! Сейчас руку горилочкой промоем, компрессик сделаем и – никаких докторов-шарлатанов не понадобится.

– Вадим, ты с ума сошёл! – со своей стороны подступила ко мне Надежда Михайловна. – Тут буквально несколько часов могут оказаться роковыми. Ты что же, жить уже совсем не хочешь?

Но меня было уже не остановить. У меня так всегда: секундное взрывное решение тут же становится *бронированным*. Даже если я четверть часа спустя начинаю в нём сомневаться и раскаиваться. Только в Москву! Как бы дела ни повернулись, я хотя бы диплом спасу. Да была и ещё одна – потаённая – причина...

Я чмокнул тётушку на прощание, подхватил так и не распакованную сумку и бросился на вокзал. Дядюшка, моментом собрав мне в дорогу сидор с едой и бутылкой *антисептической жидкости*, а ещё прихватив чекушку на провожальную минуту, еле поспевал за мной.

– В Москву! В Москву! В Москву! – кричал я, как нервическая героиня Чехова, правда, не вслух, а мысленно, но с не меньшей тоской.

В Москву!

3

Вагон странно и мерзко потряхивало – рывками, неритмично.

Каждый толчок отзывался в воспалённых мозгах и левой руке. И чей-то резкий взвинченный голос всверливался в уши совсем рядом, с соседней полки, однако слов я разобрать-понять не мог.

Я начал открывать глаза. Меня сразу затошнило, в желудке булькнуло. Я всё же разлепил опухшие веки – вместо тёмного дерева вагонной полки надо мной в страшной высоте белел потолок. Длинная трубка люминесцентной лампы слепила мёртвым светом. Тряска и крики продолжались.

Я опустил подбородок на грудь, чуть приподнял свинцовый затылок и увидел-разглядел: металлическая спинка койки, на которой я лежал, к спинке поясницей привалилась фигура в белом халате. Она, сотрясая мою кровать, визгливо-женским голосом корила кого-то:

– Свинья! Хошь бы соседей постыдился! Замолкни, я те сказала! Заткнись!..

В ответ мужской плаксивый дискант:

– Скотина грёбаная! Блядь распоследняя!.. Ну дай – только раз курну... Один только разочек, а! У-у-у, сука! А ещё дочь единокровная...

– Не на-до... – попросил шёпотом я.

Меня никто не услышал.

– Не на-до!

Ноль внимания. Я кашлянул и, набрав от бешенства сил, простонал яростно:

– Не на-а-адо меня-а-а трести-и-и!

Фигура в халате повернулась: девка щекастая, румяная – уставилась непонимающе.

– Вы меня трясёте, мне – больно, в голову отдаёт, – промямлил я из последних сил.

– Поду-у-умаешь! – вдруг обиделась девица, но, передёрнув белыми плечами, отошла.

Я с облегчением откинулся на жёсткую подушку и закрыл глаза. Та-а-ак, значит, я – в больнице...

Я начал смутно припоминать, как ещё в вагоне мне стало совсем нехорошо, рука словно под пыткой на углях поджаривалась. Я подпитывал-поддерживал себя всю ночь тётушкиным *лекарством* прямо из горлышка и не пьянел, а лишь взбодрялся.

Однако ж дома, в ДАСе, я еле успел помыться-побриться и взяться за перевязку, как хворь, отбросив шутки, скрутила меня всерьёз, принялась душить – меня затрясло. Я пе-

ретрухнул, но сообразил – до студенческой поликлиники на Ленгоры не доберусь, в метро же и сомлею. Стукнулся к администраторше этажа, та сперва засомневалась – не с похмелья ли меня корёжит, но, увидав разбинтованную руку, охнула, набрала 03.

Припомнил я и как привезли меня в эту задрипанную старую больничку, стоящую под вековыми тополями и вязами, как с ходу, едва переодев и не слушая моих воспалённых истеричных возражений, меня потартали по узкому бесконечному коридору, заволокли в операционную со светильником, похожим на НЛО, припечатали лопатками к холодному столу, заткнули рот и нос удушающей приторной маской...

И вот тут, припомнив-восстановив всё это, я пережил одну из самых тяжких минут в своей жизни. Я чувствовал жгучую боль в левой руке, но только сейчас понял – горит плечо! Ещё боясь заглянуть под одеяло, я попробовал пошевелить левой рукой... Её не было! И вправду – по самое плечо!..

Чтобы не завывать в голос, я прикусил до дикой боли нижнюю губу и медленно приподнял одеяло – рука моя, родимая моя левая рученька была при мне. Она протянулась плетью вдоль тела, заканчивалась белой массивной куклой. Я даже хотел на время обмануть себя, уверить, будто на месте и ладонь, но было видно и ясно – рука укорочена. И всё же первый испуг-шок о потере всей руки помог мне осознать-пережить истинную беду.

Я лишь философски вздохнул: сам виноват и уже ничего

не поправишь...

Впрочем, было пока не до философии и не до горестных раскаяний: меня крутило-мутило-корёжило так, что ни с каким, даже самым жутким похмельем и сравнить нельзя. Подобное, судя по киноширпотребу, испытывают наркоманы во время ломки. Я бы с удовольствием побежал в туалет и вернулся наизнанку, но сил встать-подняться не находилось. Просить же *утку*, или как там эту посудину называют, я ещё не умел. Принялся терпеть. Потом подумал: хорошо бы медсестру вызвать – пусть снотворного вколет, но никакой кнопки сигнальной рядом не обнаружил...

Потом я буду зло усмехаться над этим своим первым *большим* желанием, а тогда, к счастью, без всяких снадобий я опять заскользил, заскользил вниз по бесконечному покато-му спуску, как на санках в детстве с горы, и зарылся в рыхлый и тёмный сугроб сна.

В следующий раз очнулся-проснулся я, судя по всему, глубокой ночью. Полумрак, лишь над входной дверью испускал зловещий красный свет ночник. Через проход, напротив меня, пристанывал-скулил тот же дрянной голос:

– Ой, маманя! Маманя!.. Ой-ой, ну что же это?.. Маманя! Ой, маманя!..

И так – ровно, механически, непрерывно. Я приподнял голову, взглянул: там сидел, отвалившись спиной на козырёк своей кровати, мужичонка, покачивался из стороны в сторону, зажав обеими руками белую культю – правой ноги не

было по пах. На табурете рядом с койкой сидела девушка – не та, не давешняя, а тоненькая, с длинной косой – и молча смотрела на страдальца.

– Зинка! – простонал тот. – Ну дай мне покурить! Помру ведь – дай!

– Нельзя, папа, нельзя. Ты же знаешь. Усни так...

– У-у-у, вражина! Я думал, ты добрее Зойки, а ты – туда же... Ой, мамонька-маманя!..

Мужик голосил и разговаривал в полный голос, словно находился в многолюдной палате один. Но я не успел раздражиться, как снова унырнул в спасительное сонное беспмятство, хотя рука и продолжала гореть, словно ошпаренная. Видимо, организм уже притерпелся к боли, да и мозги никак не могли прочиститься после наркоза.

Окончательно приплыл я на этот берег уже ярим днём, во время обхода. Осмотрелся. В палате, длинной и узкой, потолок грязно-белый и с лепниной по периметру умахал от пола метров этак на шесть. В этом колодце стояло-теснилось девять коек торцами в главный проход. За козырьками большинства из них виднелись костыли.

Два доктора и медсестра с журналом начали с крайней койки у двери. На ней сидел, видать, только что – утром – поступивший дедуля деревенского вида: тощенький, пегая борода венчиком, в клетчатой рубашке и застиранном синем трико с пузырями на коленях. Плотный доктор, выпятив живот, остановился над ним, брюзгливо спросил:

– Ну, что у нас тут случилось?

– Да вот, и сам не пойму – мозоля обыкновенная была и вот...

Дедок закатал баранкой штанину, выставил на одеяло жилистую жёлтую ногу. Я чуть не ахнул: выше щиколотки она синюшно раздулась, мертвенно залоснилась. Хирург брезгливо ткнул в лодыжку перстом, отёр его куском бинта.

– Всё, дед, отплясался – резать будем, под самый корень.

Ну, подумалось, сейчас старик и взвоет-заголосит, зашплёскивает руками, кинется упрашивать доктора... Но старый вдруг с облегчением почмокал сухими губами, раскатал бодро линялую штанину обратно.

– Ну, вот, и слава тебе Господи! Теперь отдохну хоть на старости лет. А то прямочки замучили, ироды – и гонют, и гонют на работу, всё эксплуатируют. Мало им!..

Уж кто там бедолагу *эксплуатирует* – осталось загадкой, врачи двинулись дальше. Следующего, пожилого мужчину с больной ногой, главный тоже приказал готовить к операции. Ещё у трёх, кроме нытика, супротивного соседа моего, уже не хватало по ноге. А самый молоденький в палате, совсем парнишка, оказался и вовсе без обеих ног, но уже готовился к выписке. Девятый сопалатник мёртво лежал в углу с перемотанным вдоль и поперёк торсом – ему накануне оттяпали правую руку по самое плечо.

Сосед-плаксун, когда подошла его очередь, кинулся сразу причитать:

– Ой, доктор, ой не могу! Дайте мне укол какой от боли! Не сплю же я, горемычный, ни капельки!..

– Где это я вам уколов наберусь? – неприязненно буркнул эскулап. – Прокурил свою ногу, терпи теперь. Мужик ты, чёрт побери, или нет! Другие вон терпят...

Как я потом уже расспросил-разузнал в подробностях: все безногие в палате ампутированные конечности свои *прокурили* – разумеется, кроме бедного мальчишки, попавшего под трамвай. Вот так да! А я всё слушал жуткие врачебные предупреждения-агитки про *эндартериит облитерирующий*, да никогда не верил, посмеивался. Мамочки мои, да надо ведь с курением-то завязывать!

Забегая вперёд, скажу: слаб человек. Страх мой тотчас улетучился, лишь только я выбрался из больницы, и курил я потом ещё года три... Впрочем, об этом речь впереди.

А тогда, в палате, врач, подсев ко мне, страшно меня пуганул: мне бы, по его словам, хотя б на сутки раньше попасть на операционный стол... А теперь не исключено – чёрная отравы-гниль не остановлена, поползёт дальше и тогда...

Что *тогда* – он мог бы и не договаривать.

Несколько дней и ночей я жил трясуном и каждый раз во время мучительной перевязки всё внутри у меня обрывалось, замирало. Однако ж доктор брюзгливый, в очередной раз внимательно обследовав культю, удивлённо хмыкал:

– Надо же! Везёт тебе, парень, да и мне тоже – лишней работы, вроде, не предвидится

Уже много времени спустя, обдумывая всё это, я пришёл к выводу: а ведь в какой-то мере *она* же меня и спасла – Лена. Да-да! Убийственные порции антибиотика, уничтожая гревховную заразу, попутно придушили, видно, и часть гангренозных микробов, задержали страшный гнилостный процесс. Надо бы поподробнее об этом справиться у медиков, да всё забываю.

И ещё: до могилы (а до неё, может быть, и осталось-то мне – шаг-два!) буду добром вспоминать я того сановного, брюзгливого и грубого на вид хирурга по фамилии Горшков. Он же запросто мог отпилить-оттяпать без всяких хлопот рученьку мою и по локоть, и по самую шею, дабы не утруждать себя потом повторной операцией... Дай Бог ему приличной пенсии под старость и любящих не хулиганистых внучат!

Всё же мир, несмотря ни на что, не без добрых людей.

4

Но это я сейчас такой вумный как вутка, только вотруби не ем.

Тогда же, когда очнулся я полностью и совсем, душа моя, как у известного опального путешественника, *страданиями народа уязвлена стала*. Я имею в виду люд-народ болезный, и в первую очередь – себя самого. Меня всё бесило, раздражало, вгоняло в тоску: и боль непрерывная, и этот эскулап

бесцеремонный, и лающие овчарками медсёстры в пятнистых халатах, и уколы из здорового *конского* шприца – одного на троих больных (благо, о СПИДе тогда и не слыхивали), и утки эти вонючие, и постоянное присутствие в нашей мужской палате дочерей нытика, да и голод не на шутку донимал.

В эту неделю, пока не разыскал меня Аркаша, я мог бы вполне стать дистрофиком, если бы оставался только на подножном больничном корме. Понятно, что все общепитовские повара воруют, однако ж в этой рядовой больничке пищеблоковцы болели клептоманией в особо острой воспалённой форме. Ещё в первый день, когда я очнулся уже далеко после обеда, сосед справа – выздоравливающий мясистый старик без левой ноги с сивыми будённовскими усами – посочувствовал:

– Тошнит, поди?.. Знаю, знаю, не до еды теперь, а вот попить надо... На-ка, я тебе чайку сладенького из столовки попросил – возьми-ка вон на тумбочке.

Я глянул: на нашей общей с этим дедом тумбочке стояли два гранёных стакана с водичкой. Видя моё недоумение, сосед спохватился:

– Ох, а в каком же чаёк-то? Я и сам запомнил. Нукась...

Он прихлебнул из одного стакана, затем из другого и удовлетворённо расправил усы.

– Вот он, чаёк-то – с сахарком. Пей, родимый.

Я поначалу подумал: мол, дедок-ветеран меня разыгрыва-

ет, развлечь хочет наивной шуткой, однако размышлять не могло́сь и не хотелось – я, приглушив брезгливость, жадно выхлебал *чай*. Но потом я убедился, что Андрей Иванович, так звали соседа моего, и не думал шуточки шутить – в больничной столовке потчевали бесцветным чаем, жидким супцем, сухой кашей и пригорелой рыбой. Так что мне невольно пришлось в начале больничной жизни пользоваться радушием Андрея Ивановича, которого супружница регулярно снабжала сидорами с ветеранским вполне жирным пайком.

Правда, за полукопчёную колбаску, сгущённое молоко и домашние пирожки с ливером приходилось мне платить временем и вниманием. Андрей Иванович страстно любил по-вспоминать свою боевую юность, именно юность – когда он был лихим красноармейцем-конником. О последней войне он как-то умалчивал: то ли в плену побывал, то ли в тылу отсиделся.

Поначалу я с еле скрываемым вздохом откладывал Монтеня, в бреду прихваченного мною в больницу, и, подавляя зевоту, слушал пламенные воспоминания ветерана. Но уже вскоре зевота перестала меня донимать. Одно дело, что Андрей Иванович оказался рассказчиком от Бога, живописал всё увлекательно, зримо, но он к тому же упомянул-обронил к случаю название города – Баранов. Вот тут уж я принялся слушать всей душой. Оказывается, в 1921-м Андрей Иванович, тогда ещё безусый сын полка в армии командарма Тухачевского, громил банды ярого врага советской власти, кро-

вавого гада Антонова.

Особенно запал мне в память один эпизод из мемуаров Андрея Ивановича: brave командарм Тухачевский, не в пример предшественникам-слюнтяям, объявил бандюгам смертный и беспощадный бой. Он издал приказ: людей, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда и следствия. В селениях, где замечены бандиты, брать заложников и расстреливать их, если бандиты не сдадутся. И ещё: ежели в доме у кого найдено будет оружие – расстреливать на месте и без суда хозяина-укрывателя.

– И вот в селе одном, – рассказывал Андрей Иванович, утирая губы и усы от одесской сальной колбаски, – уж щас и названия не упомню, остановились мы с моим ротным, у которого я вестовым служил, в избе крайней. А там – парнишка, самый старший из пяти, мой ровесник – лет тринадцати. Я, само собой, на него сверху вниз циркаю сквозь зуб: на мне будёновка со звездой, гимнастёрка, ремнём перехваченная, галифе на полгектара, шашка боевая на боку да наган в холщовой кобуре. Вертелся-вертелся пацан этот вокруг меня, слюни от завидок пускал, а потом надумал чего-то, отозвал меня за сарай, сопли утёр и шепчет: дескать, знает-видел, где дед его винтовку с шашкой закопал. Только, грит, винтовку забирайте, а шашку мне – я, грит, тоже хочу в Красной Армии воевать у славного командарма дяденьки Тухачевского... Ну совсем ещё малец глупой – сопляк.

А дед его и вправду матёрым бандюгой оказался, даром,

что бедняк из бедняков. Уже когда у стенки сарая стоял под дулами, беззубый рот свой расхляпывал, рубаху посконную рванул на груди да как завопит: «И-и-ироде! Убивцы! Креста на вас, бандитах, нету!»

Представляешь, он же, антоновский гад, нас бандитами и окрестил. Да и живуч оказался, даром, что тощий – сущий скелет. Дважды залп пришлось давать – патроны тратить.

– А парнишка? – спросил я.

– Чего парнишка?

– Ну, парнишка-то этот, внук – где во время расстрела был?

– А-а-а... Да не помню. Вроде, там же и стоял... Он потом к нам просился, да кто ж его возьмёт – бандитский выродок...

Признаться, и я тогда, замороченный компропагандой, считал Антонова бандитом, а Тухачевского героем, но всё равно меня поразила вот эта предательская тупоголовость одного из предтечей Павлика Морозова. Так и вижу, как стоит он – в короткой рубашонке, рваных портках – позади шеренги красноармейцев и с любопытством наблюдает, вытягивает шею...

Однако ж, разумеется, свой бутерброд с колбаской от щедрот геройско-ветеранского пайка я укусывать не перестал, но, заминая бандитско-боевые воспоминания, перевёл на другое:

– Андрей Иваныч, а что это за город такой – Баранов?

Красивый хоть?

– А чёрт его знает. Я ведь с тех пор в нём и не бывал. Да и тогда только три дня в самом Баранове стояли, потом в уезд отправились, а тут следом меня и ранило в первый раз. Единственное чего помню: две улицы городские только и есть – одна вдоль, другая поперёк. А остальное – деревня деревней и грязь по уши...

Гм, странно, *она* рассказывала по-другому – красивый и уютный городок. *Она...* Я достал из-под подушки увесистый том литпамятника, раскрыл, уставился. Уже задрёмывающий Андрей Иваныч вполне мог подумать, будто я вычитываю-впитываю премудрости Мишеля Монтеня, вроде:

Размышлять о смерти – значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь – не зло...

Ух, и золотые, платиновые слова!

Правда, в тот миг я вовсе не вдумывался в философствования великого француза – я рассматривал тайком от сопалатников фотопорнуху. Сам не знаю, каким макаром те пять фотоизображений Лены попали вдруг в мудрую книгу, а вместе с нею и в больницу.

Особенно долго изучаю я один снимок, любимый мною: Лена лежит на боку поверх одеяла, подперла голову рукой, смешливо улыбается в объектив, грудки французские, с ку-

лачок, – напоказ, треугольничек волос, нежно-плавный изгиб бедра; вся маленькая, миленькая, родная...

Сука паршивая!

5

Аркаша появился, как джинн из бутылки, внезапно.

И, конечно, с бутылкой – да не одной. Я так ему обрадовался – до слёз: они прямо брызнули у меня из глаз, когда увидал я его долговязую фигуру у колонны в мрачном вестибюле больницы. Друг кинулся ко мне навстречу, хмельно-возбуждённый и от вина, и от встречи, но вдруг запнулся, уставился с испугом на мою культю на перевязи.

– Вадим! – вскрикнул он и остановился, не зная, что и как говорят в таких случаях.

Я вспомнил, как лет за десять до того пришёл к однокласснику в больницу. Он попал под мотоцикл – ему отрезали ступню. Как же мучительно было мне в ту минуту, когда я увидел его – уже на костылях, *убогого*, – как не мог найти ни слов, ни интонации...

– Аркаша! – скривил я плачущую мину, отводя его в уединённый угол. – Представляешь, теперь девок толечко одной рукой мне обнимать и щупать – кошмар!

Он глянул на меня оторопело, ещё не уловив тональность.

– А пробки?! Как я теперь буду пробки из вина болгар-

ского вытягивать – а?

И я дурашливо взвыл, тихонько прискуливая. Друг Аркаша сразу ожил, распрямился, всхотнул, тряхнул дипломатом.

– Ничего, Вадька, прорвёмся! Болгарское не болгарское, а твой любимый крымский портвешок туточки, со мной...

Мы спрятались под лестничный марш, где уже до нас оборудовали из сломанной каталки свидальную скамью. Аркаша достал бутыль, распечатал, отломил по ломтю от батона и очистил по сосиске. Запасливый друг мой не забыл прихватить и стакашек. Мы выпили сперва за дружбу, потом, не мешкая, за всё, что хорошо кончается и сразу же доопустошили бутыль, дабы не попасться с поличным. Подзакусили и тихонько закурили. Аркаша начал живописать, как он приехал из студлагеря усталый и опустошённый – во всех смыслах, как увидел мой записон на своей кровати, как кинулся сразу сюда, а по дороге – в магазины...

Я был сыт, пьян и нос у меня был в табаке. Я готов был расцеловать друга Аркашу, но у нас, мужественных, жизнью битых сибиряков, не водилось этой московско-педиковской привычки – лизаться мужику с мужиком. Я лишь крепко на прощание пожал ему руку своей уцелевшей рукой и без всяких ёрничаний сказал:

– Ну, Аркадий, ты – настоящий друг! Спасибо.

– Да ладно, – засмутился мой гренадер, – каждый советский студент на моём месте поступил бы так же!

Ну никак не мог он быть серьёзным.

Я вернулся в палату уже выздоравливающим, неся под мышкой газетный свёрток с батоном, сосисками, бутылкой «Крымского» и тремя пачками «Явы». Эх, а вот про *неё* я и не спросил – приехала ли, что да как? – а друг Аркадий сам не догадался. Хотя, он же сказал, что в ДАСе и пяти минут не пробыл, так что вряд ли и сам чего знает.

Дома, то есть, тьфу, в палате нашей мерзкой я первым делом показал Андрею Ивановичу уже распечатанное Аркашей горлышко *злодейки* – а? Ветеран сглотнул слюнки, но зама- хал руками.

– Что ты, что ты! У меня давление – уж и вкус позабыл.

Тогда я тихонько, прямо из газетного свёртка, нацедил себе в стакан сладко-хмельного эликсира и, прихлёбывая, при- нялся мечтать, глядя за окно. Там виднелся грустный обшар- панный купол церкви. Но всласть кейфовать и тянуть вкус- ную канитель хмельной мысли мешал тот хмырь напротив. На этот раз возле него дежурила младшая дочь, Зина. С нею зануда вёл себя потише, но полностью человеком быть это животное уже не могло. Дщерь только что вынесла из-под него зловонную утку, которую он требовал по десяти раз на дню, и теперь страдалец сидел, отвалившись на подушки, отды- хал. Время от времени он громко отрывивал или звучно пускал буйные терпкие ветры. На нём болталась одна майка в жёлтых потёках и пятнах, трусы он не носил – тощий зад изукрашен зелёнкой. Он тупо, машинально массировал об-

рубок, почёсывая попутно бывшие свои мужские причиндалы, и вдруг привычно своим мерзким дребезжащим голосом заканючил:

– Ну дай мне курнуть, а... Разочек только... Ах и дрянь ты тоже, Зинка! Кури-и-ить хочу!..

И он с досады так оглушительно гроыхнул-треснул задом, что дочь вздрогнула, втянула голову в плечи, но даже не обернулась, продолжала, бессильно уронив руки на колени, смотреть в окно, на старый купол без креста.

Я разглядывал в упор это человекоподобное существо и думал: ну, вот для чего оно ещё живёт? Всегда ли этот мужик был таким, или от несчастья своего так скурвился?.. Неужели и я когда-нибудь способен докатиться до такого? Вот тебе и – гомо сапиенс... Вот тебе и – Мишель Монтень... Вот тебе и: *человек – это звучит гордо...*

Мысли начали цепляться друг за дружку, переплетаться змейками, путаться. Вдруг передо мной появился живой Мишель Монтень – лысый, с усами, как у Аркаши, в пышном жабо, с мудрым усмешливым взглядом – и, погрозив тонким пальцем с массивным перстнем, выдал: *«Запомни, жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы!..»*

– Неустроев! Неустроев есть в этой палате?

Я вскидываюсь.

– Там пришли – внизу.

Судя по затемневшему окну, уже сгустился вечер. Спро-

сонок я никак не соображу: Аркадий, что ли, снова нагрязнул? Сердце почему-то колотится. Я накидываю застиранную пятнистую пижаму с дырками на локтях, почти бегом проскакиваю коридор, сбег^{аю} по лестнице на первый этаж и – словно упираюсь-бьюсь лбом о толстенное стекло.

У колонны – *она*. В своей высокой лисьей шапке, клетчатом пальтишке с рыжим воротником, вельветовых чёрных брючках. В руках – пакет с полуголой парочкой, рекламирующей джинсы «Lee». Взгляд – напряжённый, виноватый и чёрт его знает какой там ещё.

Я с минуту смотрю на неё сверху, придерживая массивную дубовую дверь правой рукой. Сердце моё проворачивается и застревает в тесной рёберной клетке. Больно.

Я делаю шаг назад. Закрываю медленно дверь...

Спустя минут десять в палату прошаркивает старая нянечка, сгружает мне на постель пакет с целующейся джинсовой парочкой.

– Ты, что ль, Неустроев будешь? Вот – передать велено.

– Спасибо, – бурчу я и заглядываю в целлофановое нутро – апельсины, фанта, блок «Явы». И – записка на клочке газеты:

«Какой же ты дурак, Неустроев!»

Особенно первое время после больницы было душновато.

Я ходил словно в каком-то вакуумном мешке — меня явно сторонились. А может быть, мне это всё только мнилось, и я сам себе, по всегдашней своей мазохистской привычке, усложнял жизнь. Могло так и быть, что никто и не смотрел с диким надоедливym любопытством на мой левый, оканчивающийся пустотой, рукав. Эх, если бы сразу можно было присобачить протез!

С Аркашей же мы по-прежнему жили душа в душу. Он странно и резко вдруг посерьёзnel, дал отлуп всем своим бабёшкам, протрезвел и целыми днями шуршал в своём углу газетами, стряпал диплом. Тему он взял солидную: *«Частота употребления высоких слов-понятий “партия”, “коммунизм”, “Политбюро” в материалах центральных газет»*. Аркадий увлечённо препарировал «Правду», «Комсомолку», «Известия», материал набирался обильный, и дружище мой загодя уверен был в отличной оценке своих трудов праведных.

Я же со своим дипломом попал в досадный непредвиденный переплёт. Нет, с материалом у меня проблем тоже не возникало: параллельное прочтение стихов Есенина и Рубцова рождало целый рой мыслей, чувств, ассоциаций, выводов и предположений. Диплом создавался, полнился, тол-

стел – рождался. Но вдруг преподавательница – милая интеллигентная доценточка, которую я выбрал посажёной матерью своему детищу – экстренно ускользнула в декрет рожать своё детище, а руководителем моего диплома автоматически стала завша кафедрой П. А. Серая. Вот тут-то я и взвыл.

Навалилось и другое: до конца марта требовалось что-то окончательно решать с распределением. Редактор «Славы Севастополя» прислал вызов-подтверждение: меня там ждут. Ждут?.. Во-первых, я и представить себе не мог, как после всего *этого* встречусь с *той* Леной. А во-вторых, смертельно не хотелось ехать инвалидом туда, где меня видели и помнили *полноценным*, весёлым и жизнерадостным. Домой, в забайкальскую убогую глухомань, по этой же причине – да и вообще! – не хотелось и не желалось. Тем более, я всё ещё мечтал о литературе, о славе. А известно, где у нас литература дышит – в Москве только да вблизи неё.

Я, к слову, уже проскальзывал и не раз в Центральный Дом литераторов на поэтические вечера, вдохнул, так сказать, отравы богемной столичной жизни. У меня готовилась подборка ещё в одной *братской могиле* – коллективном сборнике, пару моих стихотворных шедевровых опусов опубликовала «Литературная Россия». К тому же я там и, будучи на практике, несколько рецензий тиснул...

Во! А если в «Лит. Россию» попробовать распределиться, а? А что, немало наших ребят из ДАСа во время прак-

тик пускали корешки в столичных редакциях, приживались в них. Конечно, придётся помыкаться пока без прописки, без определённого жилья, зато впереди-то, впереди – свет в конце туннеля, будущее, карьера, слава, деньги и похороны на Новодевичьем... Нет, шутки шутками, а терять мне нечего – попробую, рискну. Я решил в ближайшие же дни провести разведку боем на Цветном бульваре.

С *ней* я во все эти послебольничные дни практически не виделся. Раза три мы сталкивались в дасовской столовой, да разок на факультете. Во мне каждый раз как бы случалось короткое замыкание, сердчишко скукоживалось. Я на ногах-ходулях проходил мимо, старательно отворачиваясь. Она, я чувствовал, смотрела на меня в упор, но тоже молчала. Честное слово, я сам до конца не понимал или боялся понять – что со мной происходит. Веду себя, как малолетний шкет. Когда же я – в конце концов, из конца в конец! – повзрослею?

В один из вечеров – это уже в апреле, 13-го, в мой день рождения – мы с другом Аркадием слегка расслабились. Матушка наскребла мне к этому дню внеплановый перевод, так что на двоих я праздник устроил вполне по-купецки, с размахом. Купил бутылку трёхзвёздочного армянского, огнетушитель шампанского, апельсинов, фанты – это для коктейлей. А на закусон – добротного сыру, хорошей полтавской колбаски, баночку ставриды в масле и две пачки замороженных пельмешек. Пир удался. Аркадий подарил мне шикар-

ную зажигалку-пистолет — для однорукого курца в самую точку. Ту, голубенькую ленинградскую зажигалочку, Аркадий, по моей просьбе, вместе с Монтенем и тапочками давно возвратил по адресу, ещё когда я в больнице валялся. А со спичками я ох как намучился — трудновато приспособиваться к однорукости проклятой. Я, кстати, не уставал благодарить Господа Бога, что сохранил мне в целости правую — *профессиональную* — руку, а то пришлось бы горе-журналисту заново учиться буквы рисовать.

Так вот, добро подкоккейлившись, мы с Аркашей вздумали спуститься вниз — в киноконцертный зал. Там постоянно гостили у нас всякие ну о-о-очень интересные люди: то великий маг и волшебник Юрий Горный, то популярный артист Александр Калягин, то суровый юморист Аркадий Арканов, то поэт-архитектор Андрей Вознесенский, а раз была даже сама Алла Борисовна Пугачёва и под расхристанный рояль нам песни забесплатно пела. Вот только, увы, ни разу не завернул в шумливый и гостеприимный ДАС по пути к родительнице Владимир Семёнович Высоцкий. Впрочем, когда мы заканчивали университет, он уже второй год лежал-покоился на Ваганьковском...

А в тот вечер, на мой день рождения, завернул в *Дом активного секса* на огонёк известный, как представили его в афише, «социолог, писатель и специалист по любви» Юрий Рюриков. Когда мы с Аркадием пробрались в привычный свой десятый ряд, гость уже вовсю просвещал дремучих сту-

диозусов, переполнивших вместительный зал, по части любви. Я прислушался, вникая – он действительно сообщал довольно любопытные вещи. Оказывается: когда есть влечение между мужчиной и женщиной на уровне, так сказать, мозгов, ума – это порождает уважение; если соприкоснутся души – это уже дружба; когда возникает жар от соприкосновения тел – это называется страсть; а вот когда сливаются все три влечения – вот это и есть любовь, настоящая и подлинная...

Я вдруг почувствовал что-то, обернулся: сзади, через два ряда, чуть наискосок сидела Лена. Она смотрела на меня. Я вспыхнул, отвернулся. Специалист по любви продолжал увлечённо просвещать тёмную молодёжь, я старался вслушиваться, но воспринимал всё как-то пунктирно, обрывочно.

Есть, оказывается, двойная оптика любви: недостатки любимого человека мы преуменьшаем, достоинства – преувеличиваем... Любить, значит – понимать... Минет в любви – не извращение... Эгоист может быть влюблённым, но – не любить... Главная измена в любви не физическая, а – психологическая, измена душой...

Я всё это слушал как бы её ушами.

Когда встреча закончилась, большая часть теперь шибко подкованных в теории любви дасовцев рванула в столовку. Аркадий степенно направился к нашим коктейлям и колбасе.

– Аркаш, – придержал я его за локоть уже на выходе из зимнего сада, – глянь-ка, только не останавливаясь: Ленка – сзади?

Гренадер мой вывернул шею, зорко осмотрелся поверх голов.

– Да, стоит у дверей зала, смотрит сюда. Позвать, может?
– Ш-ш-што ты! – зашипел я гюрзой на несмышлёного верзилу. – Идём.

В стеклянном бункере перед вахтой я зачем-то свернул к почтовым ячейкам, принялся перебирать не востребованные письма, открытки и переводы на «Н». Аркадий, понимающе ухмыляясь, торчал рядом.

– Ну, глянь, глянь – где она?
– Пошла в едальню, оглядывается.
– Ну и чёрт с ней! – вдруг разозлился я. – Айда дальше праздновать.

В комнате я из армянско-старлейской бутылки набухал по полстакана и залпом выпил свою порцию. Потом молча походил по комнате, жадно вытягивая из сигареты горячий дым, сделал ещё глоток оживляющей влаги. И – бросился из комнаты вон.

Мы столкнулись на вахте...

Как потом выяснилось, она уже почти достояла в очереди столовской, уже капустный салат на поднос поставила, как вдруг неведомая сила вытолкнула её из оголодавшей толпы, потянула, повлекла, потащила...

Мы практически и не говорили – какие-то междометия, возгласы, обрывки фраз. Я тут же, на глазах ко всему привыкшей вахтёрши, обнял-прижал к себе Лену. Острая боль пронзила увечную руку. И наш первый после бездонной разлуки поцелуй превратился в поцелуй-стон.

Дальнейшее я помню, опять же, смутно, отрывочно, бесвязно. Только впечатались в память вот эти внезапные, как зловещие предупреждения, вспышки боли: мы постоянно бредили рану.

Друг Аркаша, увидав нас на пороге со светящимися лицами и мутными взорами, тут же испарился. Потом, в последующие три дня, он то появлялся, то исчезал, выставлял на стол свежие бутылки – для поддержки праздника и наших сил.

Из постели мы почти не вылезали. Мы не могли наговориться, насмотреться, насытиться. Крепко сжимая объятия, мы всё пытались и пытались слиться в единое целое. В минуты отдыха и умиротворения я пошутил ласково и светло:

– Ну, что, налицо вроде бы все три влечения – и умов, и душ, и телес, а? Выходит, прав потомок древнерусских князей!

– Ты знаешь, – серьёзно и кротко сказала Лена, склонив надо мной лицо и заглядывая в глубь меня, – я ведь никогда не верила, что такое бывает. Я порой подходила к двери вашей комнаты – вот в этот последний месяц, – и у меня сердце замирало... Я люблю тебя – понимаешь?

Ещё бы не понять! Я только боялся до конца поверить, что это именно я, Вадим Неустроев, родившийся 13-го числа, – это именно я вытянул в лотерее счастливый билет.

И впереди – счастье, одно только счастье и ничего кроме счастья.

Господи – за что?!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I **Как я продался**

1

И вот, спустя много лет, в таком же апреле, когда я очнулся и решил, что так жить нельзя, наутро после деньгерждественской пьянки с Митей Шиловым, меня встряхнул ото сна нахрапистый стук в дверь. Дурацкий звонок, так внезапно всегда бьющий по нервам, я давно уже сам оборвал с корнем и продал.

Мгновенно, ещё со сна, я порешил не откликаться — я никого в гости не ждал и лицезреть не имел охоты. Но долбёж в мою худую дверь не прекращался, кто-то отбивал уже пятки, настойчиво и бесцеремонно добиваясь моей аудиенции. Конечно же, это не Митяй и уж тем более не Валерия — только

этих двух людей я мог бы видеть сейчас без раздражения. Разумеется, припёрся этот сивобородый *пролетарский козёл*. Пускай подолбит напрасно – я же вроде как в Москве нахожусь.

Стук прервался, и вдруг послышался скрежет отпираемого замка. Ничего себе! Впрочем, я уже подозревал это. Я нашарил очки, охая, сполз с матраса, кое-как встал на две конечности: проклятый псевдо-«Смирнофф» запёкся в теле и особенно в башке сгустками тошнотной боли. Машинально я привёл в порядок свой домашне-повседневный костюм: подтянул затёртые джинсы-варёнки, расправил ворот серого, вязанного когда-то женой, свитерка. Поплёлся к двери. Второй замок уже тоже был отперт, в щели над цепочкой – харя Михеича. Он ослабился и в момент сунул копыто в проём, заклинил дверь.

– Во! А я уж печалюсь стою, – не помер ли с перепоею? Сколько ж дрыхнуть можно, а, парень? Давай-ка, открывай – разговор есть.

– Ногу уберите, пожалуйста.

Он секунду помедлил, но всё же вынул из проёма свой чудовищный – 47-го нумера – американский армейский сапог. Моя издевательски подчёркнутая вежливость действует на этого костолома всегда обескураживающе.

Я скинул цепочку, впустил незваного гостя, демонстративно заслонил вход в комнату, выжидающе уставился в его кабаныи глазки. Странно, что он был один – обыкно-

венно, хотя бы Волос его сопровождает. Хотя, впрочем, какой из Волоса-глиста охранник! Когда я с ним, с Михеичем, ещё только столкнулся-познакомился (будь проклят тот несчастный день!), в его свите-банде крутились штуки три чеченца, но как только вспыхнула война в их крае, они мгновенно испарились-сгинули.

Михеич прикрыл входную дверь, сам, по-хозяйски, запер замок нижний, накинул цепочку, для чего-то, скорячившись, выставив бычий зад, глянул длинно в глазок, удовлетворённо хрюкнул. Повернулся ко мне с уже, как всегда, масляной улыбчивой физиономией. Правда, при улыбке его этой под колючим злобным взглядом становилось сразу смурно на душе.

– Откуда ж это у вас ключи?

– Э-э, да ты и впрямь ничё не помнишь? Сам же мне по пьяни запасные отдал: дескать, возьмите, Иван Михеич, будьте другом, а то помру, никто и в квартиру не войдёт. Неужто позабыл? А-а-а, понятненько – именинничек... Головка-то бобо? Щас подлечим, подмогнём.

У меня не находилось сил спорить с ним и драться.

Борода расстегнул свой безразмерный кожан, выудил из недр его бутылку «Русской». Миллионер этот мафиозный всегда покупает водку самую дешёвую, суррогатную. И откуда же он про день рождения унюхал?.. Впрочем, он, гад, всё уже про меня знает лучше меня самого. Михеич сунул мне в руку бутылку, сдёрнул с плеч куртку, повесил в шкафу

на гвоздь, сверху пристроил неизменную свою разбухшую сумочку-визитку и прикрыл её кепоном клетчатым, клоунским, с нашлёпкой-помпончиком. Затем деловито пригладил клешнями седые космы вокруг мощного сократовского лба, распустил *капиталовскую* бороду. Я молча наблюдал, дождался, пока кончит он охорашиваться, протянул «Русскую» обратно.

– Я не пью.

– Чего-о-о? Хорош ерепениться-то! С ним, как с человеком, а он – кошки в дыбошки. Давай, давай стаканы – сплосни токо, а то опять, поди, в одеколоне.

Он, довольный подначкой, хохотнул, прошёл в комнату, мимоходом отстранив меня с пути.

– Ого! Да туточки целый банкетище был! Хорошо живёшь, парень, богато. Хотя, ты ж на вагоне сэкономил, я и позабыл. Ну – садись, будь, как дома. Закусь есть, стакашки, гляжу, – в чистой иностранной водке. Всё путём!

Он, опять же по-хозяйски, прошествовал на кухню, схватил там табурет, вернулся, устроился над газетой-самобранкой, принялся ковырять жёлтыми броненогтями фольговую бескозырку бутылки. Я сел со вздохом на матрас, вылил в свой стакан остатки «Херши».

– Ты чего? – вскинулся Карл Маркс.

– Я не стану пить – бросил, – коротко повторил я.

– Ну брось чудить! Как не похмелиться-то?

– Я пить не буду, – жёстко, с ненавистью проговорил я и

залпом хлебнул шипучки.

– Ну, на нет и суда нет. Упрашивать не люблю. Не пойму токо, чего ты, парень, кочевряжишься?

Он набухал себе до каёмочки, выдохнул на сторону из пасти углекислый свой вонючий газ, двумя глотками закачал в себя водку, уткнулся волосатыми ноздрями в ломоть хлеба. Потом, наклонив банку, выловил двумя жирными пальцами невинный пупырчатый огурчик, сладострастно его оглядел, сунул в жернова челюстей и, причмокивая, захрустел-заперемалывал сочную огуречную плоть.

Я молча на него смотрел.

Мерзавец подзакусил ещё рыбой, сжевал кус колбасы, взял, повертел в корявых лапах пустой баллон из-под «Херши», высосал из горлышка остатние капли, вытер сальные пальцы о штаны, полез за сигаретами.

– Ну, вот теперь и погутарить можно. Закуришь?

– Вы же знаете, что я не курю, – я старался говорить ровно, без придыхания, – и в квартире *моей* вообще-то – ноу смокинг.

– Это чего такое? – задержал он на полдороге зажигалку.

– Это значит, что здесь не курят. Я, кажется, имел уже удовольствие об этом преуведомлять. Так что, Иван Михеевич, вы меня фраппируете тем, что так явно, напоказ, манкируете правилами *моего* дома.

Висельник бородатый секунд десять таращил на меня зенки и всё же зажигалку загасил.

– Ну ладно – зачал придуриваться. Пойду, уж так и быть, в уборной курну. Да и надо мне по надобности.

Он ушёл в туалет. Я мигом схватил бутылку, прямо из горлышка сделал три больших горячих глотка. Поперхнулся, зажал себе рот. Чёртова водка застряла сразу прямо под кадыком. С полминуты я боролся с ней, пока не протиснул дальше в пищевод. Перевёл дух, вытер слёзы. Эх, все мои вчерашние намерения, решения и планы – насмарку...

Впрочем, почему же? Я ведь пить-напиваться не собираюсь, а без этих трёх живительных глотков мне решающий словесно-деловой бой с Михеичем ни за что не выиграть.

В туалете зарычал сливной бачок. Я глубоко вдохнул три раза.

И – приготовился.

2

Михеич, устроившись опять на шатком табурете, сразу ухватил быка за рога.

– Ну, парень, подобьём бабки? Сколь уж ты мне должон – знаешь-помнишь?

– Сколько... тысяч двести пятьдесят, я думаю?

– Ха! Шуточки шуткуешь? Ровнёхонько пятьсот пятьдесят две тыщи и пятьсот рубликов. Вот они, расписочки твои, все туто-ка.

– А пятьсот-то откуда взялось? – кисло усмехнулся я. – Да и вообще – не многовато ли?

– Так ведь, почитай, три месяца ты, парень, на мой счёт живёшь-то – а? И не худо живёшь. Вот и накапало...

– А-а-а, ладно, – брюзгливо прервал я. – Лишние только разговоры. Должен так должен... И – что дальше?

– А дальше-то всё попроще репы пареной будет: возвернуть надо должок-то, да и – разбежимся. У меня свои дела, у тебя – свои.

– Вот что, Иван Михеевич, в кошки-мышки играть перестанем. Я примерно предполагаю, какие гениально-дальновидные планы рождаются-клубятся в ваших талантливых, ваших изощрённых мозгах, так что давайте без обиняков. Итак, что конкретно вам от меня надо?

– Ну, что ж, – деловито построжел Михеич, степенно огладил сивую бороду, – давай по-деловому. Денежки ты мне возвернуть не могёшь. Ждать, пока ты их где-нибудь закалымишь – я не могу, времени нет. А продать у тебя нечего, акромя себя самого да квартирёшки, нету. Тебя, парень, я и зарупь двадцать не возьму: в делах ты валенок, для охранника кулаков у тебя нехватка. Вот и получается, касатик, остаётся одна лишь толечко квартирёнка твоя. О ней и – разговор.

– А если разговор о том, что никакого разговора между нами не получится? Видите ли, милейший, я вас знать не знаю, а расписки ваши дурно пахнущие без печати нотариуса, мой вам совет, – используйте по назначению в сортире.

Откровенно говоря, я не хотел, да и не собирался залу-паться, но вот сорвался.

Нервы тоже – ни к чёрту!

Карл Маркс смотрел на меня с выделанным недоумени-ем, улыбка растворялась в бороде, багровая темь напозла на бугристое лицо, глаза сузились. Он вдруг рывком нагнулся, кинул через газету-стол лапу, ухватил скрюченными пальца-ми меня за горло. Дыхание прервалось. Я захрипел. Михеич поднял-подтянул меня к себе и, глядя в упор в мои вылез-шие на стёкла очков глаза, прорычал:

– Р-р-разом убью, сучар-р-ра! Шутки шутковать вздумал?

В последнюю – предсмертную – мою секунду он ослабил железный захват, оттолкнул меня. Я упал на матрас, долба-нулся затылком о стену, схватился рукой за изломанное гор-ло. Под зажмуренными накрепко веками наплывали позор-ные слёзы.

Я сглотнул шершавый ком, вдохнул раз и ещё во всю мощь лёгких, взял стакан, встал, молча прошёл в ванную, настроил ледяной воды, медленно, с болью сделал несколько глотков, посмотрел на себя в зеркало. Всё, *парень*, шутки кончились! Началась борьба не на жизнь, а на смерть...

Михеич встретил меня настороженным взглядом. Я сел на матрасе по-турецки, твёрдо встретил его взгляд.

– Я вас попрошу больше так никогда не делать. Не надо. Во-первых, это не интеллигентно, а во-вторых, вы можете не рассчитать в следующий раз – а кому от этого польза?

Пускай убивать вам не привыкать стать, я это предполагаю, но квартирка-то моя, хвала Богу, ещё не приватизирована, так что...

Боров хотел что-то вякнуть, но я выставил щитом ладонь.

– Минуточку! У нас деловой разговор, а он не по-деловому затягивается. Я к нему, признаться, приготовился. Вот мои условия, от которых я не отступлюсь. Сколько там за мной? Пятьсот пятьдесят две с половиной? Значит так: вы мне сейчас, немедленно, выкладываете наличными миллион четыреста сорок семь с половиной тысяч. Это будет всего – два, как вы выражаетесь, лимона. Я живу в этой своей квартире ещё три месяца, ровно три – до пятнадцатого июля. Затем я квартиру, уже приватизированную, продаю вам или обмениваю и получаю ещё три – всего три – миллиона. И плюс какой-нибудь угол для проживания. Квартира моя по нынешним ценам стоит миллионов пятьдесят – это самое скромное. Думаю, пять лимонов – это по-Божески и вас не разорит. И ещё...

Михеич опять хотел перебить, но я не позволил.

– И ещё: эти три месяца напоследок я хочу и намерен пожить по-человечески, поэтому требую, или, если хотите, прошу поставить в квартиру какую никакую мебель – стол, стулья, диван. Всё равно это ваше будет и вам останется. Я же расписку напишу, что не запачкаю, не порву и не продам. Вот все мои условия.

Я с надеждой впился взглядом в похабное лицо борогато-

го нувориша: ну, ну же, заспорь, поторгуйся! Оставь мне, да и себе шанс... Однако ж он, посопев, хлопнул ладонью по толстомясой ляжке.

– Чего ж, хозяин – барин. Тем паче, я Валерке намерен квартирёшку твою подарить, а у неё аккурат в июле, шешна-дцатого, день рождения-то. Годится.

Он поднялся, протопал в прихожую, вернулся со своей кожаной потёртой сумкой-кошелём, уселся вновь на табурет, вынул запечатанную пачку 50-тысячных, надорвал полосатую обёртку, поплевал на заскорузлые пальцы, принялся отсчитывать новенькие купюры, придерживая сумку локтем. Отслюнявив двадцать восемь радужных бумажек, он глянул на меня.

– У тебя сдача-то будет?.. Скоко это?.. Две с половиной тыщи?..

– Нет, – отрезал я, даже не заглядывая под матрас.

– Ну, нет так нет, – легко согласился доморощенный гангстер, – завернул остатние полусотенные в упаковочную ленту, спрятал в сумку, взамен достал пачку разношёрстных асигнаций, отделил ещё сорок семь тысяч. Пошарил, меньше тысячной банкноты не нашёл, усмехнулся похабно и вытряс на ладонь мелочь.

– Ну вот, двухсот семидесяти рубликов и не хватает. Простишь?.. Хотя, погодь, я вон бутылку тебе пустую оставляю – триста пятьдесят целковых. Да ещё и магарыч получился мой. Так что – в расчёте. Считай, а потом и расписочку на-

рисуешь.

Я принял кучу дензнаков, деловито пересчитал, демонстративно просмотрел все *полтинники* на свет, попробовал на вшивость-фальшивость мокрым пальцем. Нет, пока этот Кырла Мырла со своей бандой фальшивую монету не чеканил.

Я сунул капиталы под матрас, накорябал, подложив под листок бумаги его сумку-кошель, *документ*, дождался, пока Михеич хлебнёт-обмоет сделку, наотрез опять отклонив собутыльничество, проводил его к выходу. Уже закрывая за ним дверь, я предупредил:

– Надеюсь в эти три месяца вас не видеть, не встречать. Знаю – присматривать будете, но в гости больше не пушу – и не стучитесь. Кстати, и замки завтра сменю.

Этот вонючий *новый русский* не успел ничего хрюкнуть в ответ, как я захлопнул дверь.

Потом быстро прошёл в комнату, решительно ухватил за горло мерзкую бутылку с остатками паршивой водки, отнёс в ванную и вылил всё до капли в раковину.

Травись ты ею сам, козёл сивобородый!

3

Первым делом я добросовестно умылся и выскоблил зубы. Хотелось ещё испить освежающей водицы, но я изо всех

сил себя сдерживал. Затем отыскал под матрасом клочок газеты с телефоном, давно уже сохраняемый, набрал номер. Ответил мужской голос:

– Вас слушают.

– Здравствуйте! Скажите, это – «Оптималист»?

– Да, это клуб «Оптималист». Что вас интересует?

– Будьте добры: когда у вас следующий набор и сколько всё это стоит?

Мужчина нисколько не удивился сумбурности вопроса, охотно ответил:

– Следующие занятия начинаются у нас в среду, девятнадцатого, в шесть часов вечера. Родственников мы приглашаем накануне, во вторник, также к восемнадцати ноль-ноль. Курс на сегодняшний день стоит сто пять тысяч. Вы родственник или?..

– Спасибо, – прервал я, – до свидания.

Ну, вот и слава Богу, что не с сегодняшнего дня. Значит, я осуществлю-таки мечту идиота – опохмелюсь напоследок по-царски, по-королевски.

Я скидываю домашние портки и затрапезный свитеришко, пристёгиваю-прилаживаю на место протез в светло-жёлтой лайковой перчатке, которая, увы, уже потёрта и замызгана. Ничего-ничего, теперь финансы появились, – обновим-заменим. Костюм парадно-выходной у меня, само собой, не шибко моден, но вполне опрятен. В трезвом *человеческом* виде, вот как в это утро, я появляюсь на людях только в нём.

Впрочем, про человеческий вид – это я перегнул. Облик мой, конечно, страшен – в зеркало смотреть неохота: курдюки под глазами, по впалым щекам вновь проклюнулась щетина, космы нестриженные и плохо мытые уже по ушам свисают, усы какие-то *прокисшие*...

– Э-э-эх, гадина ты гадина! – говорю я сам себе с укоризной и ещё раз убеждённо выдыхаю. – Всё! Чёрт меня побери – всё!

Накинув плащишко, обувшись и прихватив старую спортивную сумку, я выбираюсь из своего логова. Лифтом я давно не пользуюсь – чего ж дышать на соседей-попутчиков перегаром, да и застревает он то и дело без причины. Спускаюсь по лестнице. Тут запахи витают-клубятся пошибче самого тошнотного перегара: подъезды в доме нашем идиотском выходят прямо на улицу, без дверей, так что по лестницам справляют малую и большую нужду все, кому не лень.

Я выхожу на белый свет, на апрельское безудержное солнце. Дом наш громоздится в самом центре города. По радиусу, буквально в двух шагах – вокзал, рынок, облбиблиотека, университет, театр, местный Белый дом, два ресторана, памятник великому вождю, барановский пешеходный Арбат, именуемый здесь улицей Коммунистической. Короче – центр города. Хотя из окон моих, кои смотрят во двор, виднеется панорама частных хибар, особнячков и усадебок с садами, огородами, гаражами, сараями и *стайками*.

Таков уж этот город – Баранов.

В последнее время я всё реже и реже выбирался на улицу и особенно не любил выходить из дому с утра, когда в организме всё перекручено, зыбко, надломлено и шершаво. В этот раз три воровских глотка водяры взбодрили меня, но всё равно недостаточно. Идти тяжело: и координация движений развинчена, походка неловкая, напряжённая, плетущаяся, да и всё мнится-кажется, будто каждый встречный-поперечный поглядывает-смотрит на тебя с большим интересом, с недоумением, насмешкой.

И особенно, конечно, ненавистны в эти минуты знакомые лица и физиии. Раньше у меня очки были фотохромные, темнели на свету, и я чувствовал себя чуть защищённее за ними, безопаснее. Да вот с месяц тому, как раз последние мартовские заморозки ударили, – размозжился прямо лицом о застывшую лужу. Хорошо, ещё глаза целы остались, а то бы и вовсе круглым инвалидом заделался. Ну, а эти старые запасные очки, тоже, разумеется, неспроста треснули.

На этот раз, слава Богу, знакомых рож я не встретил. Пересёк весь рынок. Сквозь толпу прямо-таки пробираться надо – словно бы и не рабочий день. Впрочем, давно уже никто у нас не работает: все – такое впечатление – превратились в торгашей и покупателей. Орут цыганки, предлагая свитера, косметику и сигареты. Вопят местные барановские бабы в засаленных маскхалатах, уверяя, будто в их облупленных бачках лежат горячие, да ещё и – вот уж умора! – мясные беляши и чебуреки. Говорливые золоторотые мужики чер-

номазые просят-требуют табличками на животах и голосом ещё и ещё золота. Вот такому же скупщику хапужному отдал-отдарил я год назад задарма, за гроши буквально обручальное *бесценное* кольцо жены...

Чем только не торгуют на рынке: дрожжами, газетами, баночным кофе, семечками, сникерсами, рыбой сушёной, ча-сами, пивом... И кругом – фрукты, фрукты, фрукты. Вот уж несомненный плюс дурацкой перестройки! Эх, как же я люблю, как я обожаю яблоки, груши, апельсины, лимоны, как я хочу каждый день обжираться бананами, киви и манго, как я мечтаю каждодневно съедать на завтрак целый ананас!..

В моём сибирском детстве и отрочестве, в моей студенческо-московской полуголодной юности, в моей проклятой запойной молодости я не доел, не добрал страшное количество фруктовых витаминов.

Страшенное!

Но ничего-ничего, теперь наверстаем-облопаемся. И хотя дома ещё оставалась парочка бананов, я, не откладывая дела в долгий ящик, свернул к ближайшему торговцу райскими плодами, молча схватил крайний увесистый ананас за зелёный чуб, взгромоздил на весы. Торгаш, высокий холёный парень – в тёмных очках, с золотой фиксой меж сочных губ – лениво глянул на меня сверху вниз.

– Тут, без малого, на восемнадцать штук.

Я, опять же молча, сгрузил панцирно-ребристый заморский плод в сумку, достал из брюк *мелочь*, кинул на весы

две 10-тысячные бумажонки и, даже не взглянув на реакцию ананасного купчика, пошёл прочь. Мразь! Двух стихов Пушкина наверняка не помнит наизусть, а смотрит Александром Македонским.

В супермаркете – первом и единственном в городе – народу толпилось немало, но раскошеливались редкие: цены здесь не то что кусались, они жалили сердце покупателя позлее сколопендры, скорпиона и гюрзы. По крайней мере, преподавателю института с окладом в 140 тысяч, литератору-неудачнику или, тем более, безработному ловить здесь нечего, в этом торговом Вавилоне.

Я прошагал напрямик в тот отдел, где уже не раз давился слюной, забредая сюда на экскурсию в поддатом состоянии. Все мои мечтательно-вожделенные товары покоились-красовались на витрине, отпугивая барановцев бесконечно-наглым рядом нулей на ценниках.

Продащица – размалёванная проститутка в фирменной голубой униформе, скрывающей лишь треть её телес, равнодушно смотрела сквозь меня, думала свою куцую думу.

– Девушка, будьте любезны...

Она вскинула удивлённо выщипанные бровки, обмерила меня взглядом с ног до головы и обратно, прищурилась на поношенный мой светлый плащишко.

– Значит, так, – невозмутимо приступил я к делу, – для начала завесьте мне, пожалуйста, парочку угрей.

Дива размышляла целую минуту. Я буквально слышал по-

скрипывание и шелест в её маленькой птичьей головке. То ли, мучилась она, заведующую крикнуть, то ли охранника, то ли попросить алкаша этого деньги вперёд показать?..

– Милочка, – повторил я, – завесьте мне две рыбки копчёных, вон тех, датских, по сто двадцать три тысячи семьсот пятьдесят рублей за килограмм. Только, будьте уж так добры, выберите покрупнее – я люблю сочную рыбу.

Девушка более-менее наконец уравнилась, выудила из витрины-холодильника двух змеевидных угрей, запакowanych в хрустящий целлофан, потюкала маникюрчиком по клавишам электронных весов: выскочила яркая цифирь – 49 500. Она сняла драгоценные рыбины, положила-спрятала за весы. Вот ведь какая!

– А теперь, красавица, выберите мне ещё и парочку омаров, вон тех, из Канады, – опять же покрупнее, покрасивше. Омары ведь чем толще, тем вкуснее.

– Они все одинаковые, стандартные, по триста пятьдесят грамм – там же написано, – провяньгала супермаркетная гёрл.

– Ну, что ж, давайте стандартных, раз таких в ихней загнивающей Канаде штампуют, но тогда – три. Да – три штуки.

Три красных и тоже запечатанных в прозрачную упаковку заокеанских рака потянули – матушки светы! – на 131 тыщу и легли рядышком с угрями за щитом весов. Мамзель намакияженная устала уже даже с каким-то любопытством

на меня. Сзади столпилось уже и пять-шесть зевак.

– Тэ-э-эк-с... Ну и теперь под такую закуску надо и пиво выбрать. Какое, хозяйюшка, вы порекомендуете?

– Ну, я не знаю... – протянула та, – у нас всякое пиво импортное, сертификатное. Вот хоть «Бавария» – баночное... Возьмите, оно самое дешёвое.

– Цена товара, милая моя, абсолютно меня не интересует. А подайте-ка, будьте добры, во-о-он тот вместительный сосуд за двадцать одну тысячу.

О, я давно уже приглядывался к этому двухлитровому пластиковому кувшину со светлым английским пивом «Монарх». Неужто наконец-то я его испробую!

Девушка-раскрасавица – я, уже опьяневший от процесса траты денег, да и в предвкушении похмельного пира стал вмиг благодушным и мягким, – девушка милая подбила бабки, подняла на меня недоверчивые свои воловьи очи.

– С вас двести одна тыща пятьсот рублей.

– Ох уж эти пятьсот рублей – никуда от мелочёвки не денешься, – добродушно воркнул я, хотя сердчишко, по инерции, дрогнуло.

Но я вальяжно достал свои капиталы, широким жестом швырнул на весы четыре *полтиничных* купюры, а сверху ещё и две тысячных бумажки.

– Сдачи, девушка, не надо – жвачку себе купите *с неизменно устойчивым вкусом*, – сказал я и, укладывая деликатесы в свою затасканную сумку, добавил: – Только прошу

вас, улыбайтесь почаще – улыбка вам очень к лицу.

Она, глупышка, посмотрев купюры на свет, и впрямь растерянно улыбнулась, а потом вдруг помахала мне ладошкой: мол, чао! Я рассмеялся, в ответ вскинул протез – *но пасса-ран!*

И, довольный, направился *нах хаус*, устраивать шикарный праздник опохмеления.

Прощальный праздник!

4

Сознаюсь, поступил я не весьма хорошо.

Да что там говорить – плохо я поступил, дурно, предательски. Я не позвал друга Митю на английское пиво. Нет, я хотел-намеревался звякнуть земляку, даже трубку изолентную снял с треснутого аппарата, но тут меня остановила здравая мысль: если Митя придёт на великобританское пиво (а он придёт, он прилетит, можно не сомневаться), то пивом, само собой, дело не обойдётся, а мне этого совершенно не хотелось.

Так что я сказал мысленно другану Мите «прости!», отвинтил крышку с импортной посуды, набухал в стакан густой ароматной жидкости, секунды три, а то и все четыре любовался пористой пеной – настоящей пивной пеной, клубящейся над стаканом, – и выцедил заламаншский слад-

ко-горький напиток маленькими сладострастными глоточками.

У-у-ух, ну и блаженство!

Когда-то, когда импортное баночное пиво только-только ещё появилось у нас и только в Москве, я длительное время ходил вокруг да около, пока, наконец, не махнул рукой на нищенскую свою скупость и не купил банку «Гёссера». Стоила она по тем временам невозможно сколько – дороже водки. На вкус же пиво хвалёное забугорное оказалось водянистее нашего «Жигулёвского».

Уже в последнее время я покупал раза три вынужденно, с похмелюги, баночное пойло, и каждый раз это действительно оказывалось препаршивое пойло. Так что первые глотки вот этого английского эля я делал с опаской. И тут же я понял-ощутил наконец – что такое *настоящее* пиво, хотя выхлебал за свою жизнь жидкости под этим названием целый Байкал.

А уж когда я отпилил тупым ножом круглый пластик копчёного угря, да потом опять заглотил стаканчик пива, да затем взялся потрошить аппетитного омара – у меня зазвенели-заиграли все фибры души и все фиброчки советско-пролетарского желудка. Эх, так бы всю жизнь – фирменное пиво да марочное винцо с доброй закуской, тогда бы и мучиться-завязывать не пришлось. Да куда там! Хорошо бы хоть на этот раз удержаться от продолжения, остановиться, как наметил. Впрочем, судя по этикетке, этот эль с Туманного

Альбиона по градусам не уступал сухому вину, так что кайф я словлю в полной мере и с лихвой.

И тут, не успев я обсосать одну омарью клешню, в дверь дробно постучали. Кого же это чёрт принёс? Автоматически, без раздумьев, я прикрыл датских угрей и канадских омаров краем газеты, придавил пустой банкой из-под огурцов. Ана-нас и пиво спрятать было некуда.

Стук повторился – слабенький, но настойчивый и длительный. Я со вздохом пошёл открывать. Очки я забыл прихватить, но всё же углядел через глазок в полумраке коридора женскую фигуру, одну. Ещё супружница, бывало, ругала-костерила меня за то, что я распахиваю настежь двери неизвестно кому. Но я так и не приучился осторожничать с цепочкой, тем паче, когда за дверью – дама.

Открыл. Валерия. Она с неуверенной размытой улыбкой смотрела на меня.

– Можно? Я на минуту.

– Ну, раз на минуту – проходи, – буркнул я и, пропустив её в прихожую, выглянул на всякий пожарный в коридор. Никого.

– Что это вы сегодня поодиночке приходите вздумали? – ещё не приветливее пробурчал я, запирая дверь.

– Так он уже был, был у вас?

– Кто – он? Михеич был, а Волос ваш, поди, ещё сны похмельные досматривает. Попозже, видно, припрётся – раз пошла такая катавасия.

Валерия застряла у порога, смотрела на меня своими кошачьими глазищами, ждала.

— Ну, здравствуй, коль пришла, проходи в горницу.

Валерия расстегнула плащ, но снимать не стала, прошла в комнату, пристроилась на табурет, нагретый ещё утром Бородой, оправила короткую пышную юбку, сняла сумочку с плеча, прижала на колени. Колготки её прозрачные, донельзя выставленные, тревожили невольно мой близорукий взгляд. Да и вообще рядом с девахой этой вполне можно было стать косым, ибо и полная грудь её из-под щедрого выреза цветастой кофточки притягивала мой голодно-холостяцкий взор. Притом, лифчики Валерия, как я давно заметил, не признавала, так что при малейшем её наклоне картинка получалась ещё та.

Я, впрочем, нацепил на нос очки.

Что ж, скрывать не буду: эта особь мафиозная с первой ещё нашей встречи принялась помимо моей воли подогреть мою кровь. Особенно привлекал-поражал в ней контраст между вызывающей, яркой, проститутской внешностью и тихой, плавно-скромной, полусонной манерой держаться. Притом лицо она имела не стандартно-кукольное, совсем нет: зелёные, как у той Тони-лимитчицы, распахнутые глазищи, вздёрнутый носик, толстые, прямо-таки африканские губы, светлые крупные веснушки, обильно усеявшие нос и пухлые щёки, а светло-каштановые, с рыжинкой волосы она, против моды, свободно распускала по плечам.

– Пиво будешь? – спросил я. – Английское.

– Буду, – она облизала пунцовые губы.

– Тогда иди, сама стакан сполосни. У меня – самообслуживание.

Пока она ходила на кухню, я покромсал одного угря, омаров же выуживать из-под газеты не стал.

Валерия отхлебнула глоточек, другой, третий, закатила глаза.

– Ой, какая прелесть! Не то, что наше – даже бутылочное.

– Девушке неприлично разбираться в пиве, – угрюмо сказал я, выхлебав свой стакан.

Гостья смотрела на меня, пытаясь понять – шучу я или нет. Мне не хотелось возбуждаться. Я снял очки, положил рядом с собой на резину.

– Ну, так какое у тебя дело?

Я собрался вовсе построжеть, но какая-то барабашковая сила заставила-таки меня перегнуться и вновь хлебосольно наполнить её стакан. В голове уже приятно пошумливало – пенился пиво-хмельной прибор.

– Рыбку-то, рыбку попробуй.

Валерия взяла протянутый мною кусочек угря, но не откусила.

– Я... я, Вадим Николаевич, предупредить вас хотела... Не берите больше денег у Ивана Михеевича...

Валерия упорно смотрела на свои розовые коленки.

– Почему же? Я деньги люблю, у меня их нет, а Михеич –

человек добрый, щедрый, меценат. Почему бы и не одалжиться у него?

– Не надо... – почти прошептала Валерия. – Это очень опасно...

– Скажи, – вдруг спросил я, – тебе нравится моя квартира?

Она с недоумением глянула на меня, осмотрелась вокруг, вздохнула:

– Грязно очень, запущено.

– Ну, грязь – дело не вечное. А так, вообще – ты хотела бы здесь жить?

– С вами? – распахнула она ресницы.

– Почему со мной, можно и без меня. Просто жить и всё.

– Я вам правду говорю, – как-то жалобно, совсем по-детски протянула Валерия. – Иван Михеевич шутить не любит. Он очень... сильный человек. Не берите у него деньги...

– Валерия, забываю всё спросить: тебя родители как в детстве звали – Валерой?

– Нет – Валей, – улыбнулась светло она. – Это мне отец имя придумал, в честь кумира своего – Валерия Ободзинского, а потом и сам не рад был. Валей называли – и он, и мама.

– Да-а, Валерий Ободзинский был певец что надо! А вот с Михеичем, Валя, мы между собой сами разберёмся – не встречай. И вообще, зачем и почему ты с ним? Вы что – вместе живёте?

– Нет, не вместе... – она смотрела всё на коленки. – Я одна в домике живу, в Пригородном...

– Но ты живёшь с ним, спишь? – я почему-то злился всё надрывнее.

– Он... он меня выкупил... Меня в карты проиграли, а он выкупил... Пятьсот тысяч заплатил – ещё в прошлом году... Большие деньги...

От её слов пахнуло чем-то удушливым, смрадным. Боже мой, ведь этот киношный мафиозно-уголовный параллельный мир действительно совсем рядом, тут, вокруг. И попасть в него – один шаг, один только неверный заплетающийся шаг.

– Не хочу, не хочу, не желаю знать никаких подробностей! – прервал брезгливо я. – Скажи только, а что тебе от меня-то надо – а? Ну, чего ты вот сейчас припёрлась? Я хочу, я желаю, – всё выше поднимал и утонышал я голос, – чтобы вы все оставили меня в покое! Все! До единого!

Я набухал прыгающей рукой пива в стакан и залпом заглотнул. Валерия посмотрела на меня исподлобья и вдруг выдохнула:

*Как много может человек,
Когда он полюбил –
Любить и жить хоть целый век,
Казалось, хватит сил...*

Мало сказать – я обалдел. Я онемел, я потерял дар речи, я

олигофренно выпучил на гостью глаза. Она пошарила в сумочке, вынула белую книжечку-брошюру – мой единственный отдельный сборничек стихов «Четвёртая тризна», который только-только выпустила местная издательская фирма писателя Алевтина «Книжный трактир».

– Я вот купила на днях, прочитала... Мне очень, очень, Вадим Николаевич, ваши стихи понравились. Сейчас всё больше заумь какую-то печатают, белиберду – даже без рифм, без смысла... А такие стихи, как у вас, я очень люблю. Я и не знала, что вы поэт...

– Ну, какой там поэт, – махнул я небрежно рукой, но голос мой предательски дрогнул. – А скажи: почему именно эти строки ты сейчас прочитала? Почему эти?

– Я могу и другие...

– Не надо! Всё это чушь. Всё это – старьё. Я уже давно стихов не пишу – выздоровел... Так что – не будем беречь старые раны, – я странно взбодрился. – Давай-ка ещё пивка дерябнем, а? Ты не опьянела? Нет?

Чёрт, как бы глупостей не натворить! Я чувствовал, что сам уже плыву довольно хорошо. Надо не омаров доставать, а – выпроваживать её, пока соображаю. Я наполнил стаканы, поднял свой.

– Ну, на дорожку, как говорится?

Она как-то странно, как-то томительно длинно глянула на меня, выпила пиво, показав мне белое пульсирующее горлышко, утерла губы платочком и, уже вставая, спросила-по-

просила:

– А вы не подпишете мне книжку вашу?

– Давай, – усмехнулся я, – только ручку искать надо.

– У меня есть, есть, – заспешила Валерия, отыскала в сумочке фломастер.

Я взял и, прижав «Четвёртую тризну» протезом к колену, накорябал чёрным безрадостным цветом на обороте обложки: *«Валерии, красивой девочке, губящей свою судьбу, с надеждой, что она очнётся. Автор. г. Баранов. 1995 г.»*

– Только сейчас не смотри, потом, – сказал я, протянув ей мои поэтические вздохи, – А сейчас, извини, у меня дела.

Она покорно кивнула головой, плавно, глянув в зеркальце, мазнула по губам помадой, упаковала сумочку. Я проводил её до двери. Уже на пороге она всё же спросила:

– Он сегодня опять дал вам деньги?

– Ва-ле-ри-я, – жёстко остановил я, – это мои заботы. Не омрачай свои нежные мозги. Прощай!

И я почти вытолкнул её прочь. Тоже мне – будет корябать душу! Да и – чёрт меня побери! – в голове распухло и заполонило всю черепную коробку лишь одно желание...

А – ладно! В самый наипоследний разочек, до среды просплусь...

Я прямо так, в домашнем тряпье и без плаща, прихватив лишь сумку, выскочил из дому, промаршировал двором к соседнему гастроному, закупил бутылку своего любимого пьянящего напитка «Рябина на коньяке» и пять бутылок «Бара-

новской» – завтра буду отмокать.

Дома я эль английский пока отставил в сторону, принялся потягивать «Рябину», подналёг на колбасу и сыр, не чувствуя их вкуса. И всё – думал, думал, вспоминал. Эх, как разбредила мне душу своими, вернее – моими стихами эта малохольная бандитка. Дурацкими стихами!

Мало им убить человека, они ещё в душу хотят к нему залезть, потоптаться там.

Негодяи!

Глава II

Как я обарановился

1

В Баранов из Москвы я ехал с безразмерной улыбкой на лице, не подозревая, какую страшную катастрофу предстоит мне здесь пережить.

Но сначала – пару слов об этом населённом пункте середины России, где мне суждено стало прожить-проживать весомый кусок несчастливой моей судьбы и предстоит вот-вот уже обрести вечное упокоение на местном загородном уютном кладбище. Я загодя много знал о Баранове от Лены, жадно её расспрашивая. Специально отыскал в библиотеке и книжку рекламно-путеводную про сей город.

Что ж, биография у него оказалась не из последних. Возраст уже довольно почтенный – без малого четыре века. Был заложен когда-то как крепость сторожевая от всяких южных степняков *с раскосыми и жадными очами*. Подозреваю, что, как и повсеместно на Руси, те же раскосые степняки-кочевники да аборигены здешних мест мордва с чудью и стали прародителями большинства коренных барановцев. По

крайней мере, дикости и степного невежества в них более чем достаточно – в этом я весьма скоро убедился.

Стоит Баранов на берегу стремительно усыхающего Студенца, по которому некогда ходили большие пароходы и тяжёлые баржи, а теперь с трудом пробираются меж берегов только лишь речные трамвайчики, катающие в выходные летние дни праздных барановцев. Но красота речки всё ещё неизбывна, освежающая, радостна. Сохранились под Барановом и кой-какие леса и даже с кой-каким зверьём, так что и под самым городом можно набрать в сезон ведро опят, туюсок черники и повстречать ненароком перепуганного кабана с выводком полосатых своих подсвинков.

Вот этим – своей близостью к природе, своей слитностью с природой – Баранов сразу меня и покори́л. Чего мне до удущья не хватало в Москве, по чему тосковала душа моя – вот по этой *чудной* возможности свернуть с центральной городской улицы, с её грязью, пылью, змеиным шипом троллейбусов, рёвом машин, каменными коробками домов, и через две минуты уже вышагивать по Набережной, вдыхать хмельной озон и отдыхать взглядом на зелени деревьев и трав, зеркально-тёплой речной глади...

Достославен оказался Баранов и своей историей, культурой – предметом непомерной гордости небольшой горсточки местных интеллигентов. Здесь чуть было не губернаторствовал в своё время Салтыков-Щедрин, которого в конце концов вместо Баранова послали вице-губернатором в Рязань,

но это не помешало чтить его память барановцам, назвать одну из улиц родного города именем Михаила Евграфовича, долгие годы мечтать о памятнике ему и уже в новые совсем времена (опять же вперёд забегаю) водрузить-таки монумент писателю-сатирику в центре города.

Своим земляком считают барановские аборигены и поэта пушкинской поры Фёдора Глинку, хотя все справочники уверяют, будто он родился под Смоленском. «Нет и ещё раз нет! – твердят-уверяют барановцы. – Великий поэт родился именно в Барановской губернии, где матушка его как раз гостила в тот момент у родственников».

Да и сам Александр Сергеевич, по преданию, осчастливил град Баранов своим посещением, будучи проездом, и даже изволил ночевать в гостинице, от которой осталась по сию пору лишь каменная конюшня, на каковую мечтают краеведы и краелюбы местные водрузить мемориальную доску.

С этими досками в Баранове, к слову, напряжёнки не было и нет. Редко какое здание в центре города не сверкает золотыми буквами по мрамору: «*Здесь размещался штаб дивизии Киквидзе...*», «*В этом доме ночевал Котовский...*», «*В этом сарае родился большевик Загогуленко...*» и т. п. А на здании бывшего Дворянского собрания, а нынешнего драмтеатра мемориальная доска с козлинобородым барельефом сообщала вовсе не о том, что здесь трижды в начале века выступал-гастролировал великий Шаляпин, нет, золото букв вопияло о грандиозном событии: «*Здесь 3 августа 1919 г.*

в течение 11,5 минут находился и выступил с речью выдающийся деятель Коммунистической партии и всего мира М. И. Калинин». Почему-то авторы-производители доски забыли упомянуть колоритную кликуху-титул выдающегося деятеля – «Всероссийский козёл».

А ещё в одной глухой деревушке самого отдалённого барановского уезда отдыхал когда-то у дальних родичей композитор Бородин и даже сочинил на этой земле – по утверждению, опять же, местных фанатичных краелюбов – ту самую знаменитую арию, где князь Игорь стенает-умоляет: *«О дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить!..»* Каждый год, разумеется, на день рождения Бородина в эту деревушку Парфёновку тащатся по чернозёмной непролазной грязи энтузиасты местные и пришлые на обязательный музыкальный фестиваль. Как будто нельзя ту же арию несчастного пленённого князя спеть и прослушать в стенах областной филармонии...

В самом Баранове, когда увидел я его впервые почти пятнадцать лет тому, действительно наиболее приличными оказались только две улицы: Интернациональная и Советская – прав оказался ветеран-красноармеец больничный. Ну, ещё, в какой-то мере, и – Набережная. Здесь сохранились старые каменные здания, возвышались, радуя глаз, уцелевшие церкви. Из почти сорока осталось их шесть. Одна, самая простенькая, бывшая солдатская, – осталась единственной действующей. В кафедральном соборе размещался, как водит-

ся, краеведческий музей. В самой красивой бело-воздушной церквушечке бывшего мужского монастыря хранился теперь *бесценный* партийный архив. Ещё две православные церкви стояли просто так – полуразрушенными и обезглавленными. А вот в бывшем костёле размещался презервативный цех орденоносного резинотехнического завода.

Имелись в Баранове и памятники – а как же без них? На самой главной-главнейшей площади города стандартно выбросил вперёд и вверх мощную длань незабвенный Ильич с откляченным массивным задом: скульптор-ремесленник не учёл, что развевающаяся пола пальто бронзового кумира-истукана будет смотреться двусмысленно. В одном из скверов Баранова возвышалась девушка с винтовкой – памятник партизанке Тане. В то время все эти Тани, Зои Космодемьянские, Александры Матросовы, молодогвардейцы были ещё безусловными Героями Советского Союза. Только самые злобные какие-нибудь диссиденты могли сомневаться в их подвигах, шипели, мол, ребятишки погибли по неумелости, по собственной дурости, потому что совершенно были неподготовлены, не умели воевать, а подлая совпропаганда превратила их в символы, в плакаты.

Ну, взять того же Матросова. Он, профессиональный воин, получил приказ уничтожить деревоземляную огневую точку противника, в просторечии – дзот, имел две гранаты: и – что же? Он, как дурак и неумеха, кидает-растрчивает гранаты чуть не за километр от этой самой деревоземляной

точки, а потом ему оставалось одно из двух: вернуться и доложить о невыполнении приказа со всеми вытекающими отсюда грозными последствиями, либо исправлять свою промашку любым способом...

Так думали в *брежние* времена всякие непотребные отщепенцы-диссиденты, да и то шибко вслух об этом не кричали, разве что где-нибудь там, за кордоном, где *пошлая* свобода слова уже давным-давно не криминал. Это потом, во время наступления эры гласности и плюрализма уже и у нас появятся и вовсе ошеломляющие гипотезы. Оказывается, та же Зоя Космодемьянская не только никакая не Героиня Советского бывшего Союза, но она даже и вовсе предательница народа и вражина – поджигала дома мирных русских крестьян, выполняя преступный приказ о *тактике выжженной земли*, так что доблестные фрицы, мол, вовремя её повязали и вполне заслуженно вздёрнули...

Мороз по коже от таких гипотез!

Но, ради исторической правды, замечу, что уже и тогда, в те самые *брежние* времена, о памятнике юной партизанке Тане барановская молодёжь шутки шутила не весьма почтительные: дескать, в Баранове осталась всего одна девушка, да и та на Советской с винтовкой стоит...

Кроме того, на берегу реки у гостиницы «Баранов» скрашивал пейзаж величественный мраморный памятник классику русско-советской литературы Новикову-Прибою, родившемуся где-то неподалёку от Баранова. А напротив исто-

рической конюшни в скверике торчал и бюстик Александра Сергеевича Пушкина: скромненький, маловзрачный, но, как говорится, – всё же...

И, наконец, упомянуть надо о шедеврах памятникового искусства эпохи гиперсоцреализма, без которых немислим ни один хоть маломальский город *шестой части мировой суши*. На Комсомольской площади высились два железобетонных монстра мужеска и женска пола, передразнивающих «Рабочего и колхозницу» Мухиной. На одном из перекрёстков торчал нелепо на пьедестале натуральный танк, на другом скрещении улиц – не менее натуральный самолёт-истребитель. Но, увы, не имелось в городе памятника крейсеру или подводной лодке по причине удалённости Баранова от больших стратегических водоёмов.

Конечно же, горел-попыхал неременный свой местный Вечный огонь, причём горел он на бывшей Соборной площади перед поруганным кафедральным Спасо-Преображенским собором, в коем священный огонь свечей и лампад был потушен-уничтожен ещё до войны. Ну и, само собой, своеобразными памятниками эпохи следует считать пресловутую девушку с веслом и такого же гипсового истукана со снопом пшеницы на плече в городском саду культуры и отдыха.

Так называемая общественно-культурная жизнь в городе побулькивала еле-еле, вяло. В барановских газетах шла не утихающая дискуссия на тему: как именоваться жителям Баранова – барановцами или барановичами? В местных вузах

писались и защищались диссертации о роли КПСС в успешном строительстве коммунизма, по истории славного ленинского комсомола, о достижениях соцреализма во всей советской и конкретно барановской литературе. Несколько профессоров и доцентов-словесников вели неустанную борьбу за правильное, по-старинному, написание фамилий известных русских литераторов – Лермантов, Боратынский, Фон Визин...

Какое-никакое оживление в сонную жизнь Баранова вносила очередная премьера в драматическом театре, да гастроли какой-нибудь заезжей звезды эстрады вроде Людмилы Зыкиной или Иосифа Кобзона. Знаменитости наезжали часто: во-первых, близко от столицы, всего ночь на поезде, а во-вторых, филармонией барановской руководил тороватый еврей с громкой фамилией – Кремлёвский. Он *умел* приглашать заевшихся, избалованных советских обитателей эстрадного олимпа. Когда Кремлёвского посадили за всякие нехорошие денежные дела – вояжи-наезды московских песенных светил *порежели*, но барановцы немного утешились тем, что дело Кремлёвского прогремело на всю страну, попало во все газеты.

Ну, чем ещё примечателен Баранов?

Ах да! Это же – уверяет справочник-путеводитель, – молодёжный город, так что я ехал в город сверстников. На 300 тысяч жителей здесь находилось пять военных училищ и четыре вуза – политехнический, педагогический, институт

искусств да музыкальное училище, естественно, имени Бородина. Кроме того – масса всяких техникумов, ПТУ и прочих рассадников плохих знаний и добротного хулиганства.

Кстати, однажды мне рассказали презабавный анекдотец: устроили-объявили конкурс среди барановских институтов на право присвоения одному из них статуса публичного дома. Политех сразу отсеялся – девиц мало; музучилище не потянуло – воспитанницы чересчур серьёзны и возвышены. А вот *искусственницы* всерьёз загорелись: нам бы, говорят, кровати двуспальные завести, да фонари красные над входом повесить и – все дела. Но победила *кузница педагогических кадров*: а нам, заявили, только вывеску сменить и – всё.

Примечательно, что сей пикантный анекдот услышал я из уст как раз воспитанницы этого самого пединститута, и рассказывался он филологиней весело и взхлёб...

Впрочем, всё это было позже, когда я уже прижился в Баранове, сроднился с ним, так что подобные анекдоты даже корябали моё барановское патриотическое сердце. Я действительно полюбил вскоре этот странный, вздорный, дремучий, злобный, грязный, но удивительно уютный, патриархальный и красивый своей первозданной близостью к природе город. В России – сотни городов. Среди тех, что я видел, в которых побывал или даже какое-то время жил, есть бесконечно близкие, родные мне, милые моему сердцу и в которых я вполне бы мог навсегда прижиться – Москва, Севастополь, Ярославль, Киев, Луганск, Феодосия (да-да – и *русский*

Киев, и *русский* Луганск, и *русская* Феодосия!), Темрюк, Тамбов... А есть-существуют и города, в коих я почувствовал себя неуютно, и я бы никогда не согласился прописаться в них, они *не мои*. Это, например, – Рига, Абакан, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Краснокаменск, Псков, Санкт-Петербург, Новороссийск, Керчь...

Город проживания, как и имя, играет в судьбе человека таинственную и многополагающую роль. Кто знает, стал бы Баранов моим родным, моим судьбоносным городом, если бы я не увидел его впервые влюблёнными слепыми глазами, если бы уже тогда, в первые дни, не пропустил мимо сознания очень существенный штрих – разноцветные крыши. Я тогда только усмехался и подшучивал при виде странных, непривычных взору радужных барановских крыш.

Дело в том, что большинство вместительных многооконных особняков в Баранове при советской нищей власти были разделены-поделены. И вот каждая семья свою часть общей крыши принялась красить в свой цвет, так что иные *безразмерные* бывшие купецкие да дворянские домищи имели теперь трёх-четырёх-, а то и пятицветную крышу.

Меня это поразило до мозга костей: неужели соседи не могут сговориться и сообща купить одинаковой краски? Ну и ну! Мне, ещё жизнерадостному, это казалось нелепым и смешным.

А ведь эти разноцветные крыши – целая жизненная философия, целое мировоззрение. Это – стиль жизни, прояв-

ление её смысла и сущности.

Болотной, удушливой сущности...

2

На вокзале нас никто не встретил.

Я уже знал, со слов Лены, о натянутых её отношениях с родственниками, но – не до такой же степени!

Впрочем, я ещё в Москве, обдумывая-предугадывая своё дальнейшее житьё-бытьё, твёрдо и разумно решил: ни в каком случае не вламываться в чужой семейный монастырь со своим уставом. Одно я знал наверняка: никакими деньгами и никакими пытками меня не заставишь пресмыкаться, признать себя приживалом, ущемляя мой взлелеянный эгоизм. Я приготовился ко всему, ко всякому и потому особо-то не удивился.

Правда, чертыхаться с первых же шагов пришлось. Мы не только мои все вещи прихватили, но и Лены тоже, ибо уже решено было и подписано: она переведётся на заочное. Так что набралось ящиков пять неподъёмных с книгами, два чемоданища, несколько сумок и узлов. Я вообще жуть как не любил и по сию пору ненавижу таскаться по вокзалам с тюками, всегда старался ездить-путешествовать с одной лишь сумкою через плечо. А тут ещё бесило непривычие моё к однорукости: мало того, что беспомощней стал, так ещё и за-

деваю то и дело остро болезненной ещё культёй за жёсткие чемоданные углы.

Ух, и разозлился я!

– Давай-ка, – приказал Лене, – в камеру хранения пока всё запихнём.

– Ну уж нет! – вскинулась она. – У меня здесь дом родной, а я вокзальных тараканов собирать буду? Не бывать тому!

Денег у нас на носильщика и на такси совершенно не осталось: традиционно-журфаковский выпускной банкет в ресторане «Метрополь» и так нас разорил, да к тому же после банкета ещё два дня опохмелялись в ДАСе, так что явились-прибыли в Баранов буквально с мелочью в кармане. Однако ж пока я, мокрый как лошадь, отирал пот с лица у горы нашего книжья-тряпья, Лена делово отправилась куда-то и вскоре вернулась с дюжим парнем. Он кивнул мне дружелюбно, оглядел наши вещь-залежи, потёр друг о дружку свои ладони-лопаты и жизнерадостно подытожил:

– Ленок, ноу проблем!

Он подвесил две сумки на плечи, третью – на шею, зажал под мышками по коробке, подцепил, присев, два чемодана в руки и попёр всю эту гору вещей рысью по перрону.

«Ну и знакомые у неё – сплошь жеребцы!», – со вздохом подумал я, взгромоздил на плечо два узла на перевязи и вцепился изо всех сил в две связанные между собой коробки. Лена вознамерилась подхватить оставшиеся две сумки и коробку, но я прикрикнул:

– Поставь! Тебе же нельзя! Жди здесь.

Не успел я одолеть, с остановками, и полпути, как бу-
гай-доброхот уже вернулся и, пока я доволол своё, притар-
тал всю оставшуюся кладь. На привокзальной площади нас
ждал узик. Амбал закинул последние вещи в корму, закре-
пил тент, усадил нас сзади, втиснулся за руль, обернулся,
протянул мне краба и ухмыльнулся весело:

– Эдик!

– Вадик! – в тон ему жизнерадостно ответил я, стараясь
сдавить его лапу пошибче.

Потуги мои пропали втуне. Эдик врубил зажигание, за-
скрежетал скоростями, глянул на часы и кивнул Лене:

– Туда – на Фридриха?

– На Фридриха.

– Ну, помчались, а то я к Помидору опоздаю.

Я окончательно понял: они весьма-весьма коротко знако-
мы. Очень весьма. Потом я разузнал, да и сам сошёлся с Эди-
ком поближе – он работал водилой в редакции областной мо-
лодёжки и действительно имел понятие, где у Лены располо-
жены на теле потаённые родинки. Само собой, Лена сама и
рассказала мне об этом в *злую весёлую* минуту...

Но это – позже, позже!

А пока мы обогнули громадный энергичный фонтан, по-
хожий на стеклянный купол родимого журфака на Моховой,
вывернули на прямую широкую зелёную улицу – Интерна-
циональную – и помчались вниз. Я жадно смотрел в окна, и

настроение моё начинало постепенно празднично пузыриться-шампаниться. То, что я видел, мне нравилось – пейзаж вполне городской. К тому же день июльский уже разыгрывался не на шутку: солнце так и поливало всё вокруг весёлым светом.

Вскоре мы свернули с центральной улицы направо и, сбавив скорость, затряслись по самой, как мне тут же пояснили в два голоса, долгой улице города. Она носила имя *выдающегося друга величайшего пролетарского мыслителя*, то есть – Фридриха Энгельса. Тогда она была ещё вся в колдобинах, и тогда ретивые плюралисты от пера ещё не осмеливались выплёскивать на газетно-журнальные страницы всякие грязные, прости Господи, инсинуации о странной, чрезмерной и двусмысленной дружбе-близости *нежного* Фридриха с *душкой* Карлом...

Меня же более всего поразило в тот момент то, что мы, свернув с центральной городской улицы, тут же въехали в улицу вполне деревенскую: особнячки и покосившиеся хибарки, вдоль заборов и калиток по обеим сторонам – тропки без всяких тротуаров, над заплотами свисают яблоки и сливы, лежат в тени уже сомлевшие от наступающей жары собаки, курицы и кошки. Единственное, чего не хватало для полноты сельского ландшафта – палисадников с клумбами: дома торчали открытыми окнами сразу на улицу, на прохожих.

Наконец узик-козлик, подпрыгнув последние разы, подкатил к длинному высокому брусчатому дому. Судя по кры-

ше, проживало в нём четыре семьи. Да во дворе ещё стоял домина с тремя крылечками, так что зрителей-свидетелей нашего приезда в квартиру № 3 хватало с избытком.

Мы подгадали на субботу, и вся – родная мне теперь – семья-семейка оказалась в сборе. Она состояла из: моей будущей тёщи, Ефросинии Иннокентьевны, каковую я, несмотря на её языкосломательное имя-отчество, ещё загодя решил величать только так – по имени-отчеству. Я даже родную матушку с детских лет ещё стеснялся почему-то называть мамой, такой уж у меня скверный поизломанный характерец, а уж чужую тётку, пусть и родительницу жены, именовать мамой да мамулечкой мне всегда казалось нелепым, смешным и надуманным.

Ефросиния Иннокентьевна выглядела моложе своих со-рока трёх, носила модную причёску каре, курила беспрестанно «Космос» и прищуривала близоруко глаза, от чего взгляд её казался насмешливым. Глядя на Ефросинию Иннокентьевну я въяве представил-увидел, какой станет моя Елена годков через пятнадцать-двадцать: что ж, не самый худший вариант – далеко не самый...

Наличествовала и старшая сестра Лены – Виктория. Меня сразу удивило, как разительно непохожи меж собою сёстры. Виктория имела выпуклые тёмные глаза, масляно блестящие из-под сильных очков, губы маленьким сердечком, заметные усики над ними, мощные плечи, расплывшуюся талию и волосистые кривые ноги, недостаточно скрываемые

скучной юбкой. «Да-а-а, – цинично подумал я, – отчим её вряд ли домогался!»

Тут же находилось маленькое вихрастое существо в одних панталончиках, которое то принималось молча и яростно терзать замки наших сумок, то, заложив палец в рот, вперивало в меня светлые пытливые глазёнки, пристрастно изучая-оценивая. То была самая младшая из трёх сестёр – Шурик. Её так, по-мальчишески, звали все, и девчушка шустрая вполне это оправдывала. Уже через пяток минут она притащила за хвост орущую благим матом пятнистую кошку, подняла-вздёрнула её и представила: «Лизка!» А ещё через пять минут Шурик, углядев, что я пугливо оберегаю левую укороченную руку, вдруг изловчилась, вцепилась в культию мою цепкими коготками и с любопытством пронаблюдала, как я дёрнулся, охнул и скорчил гримасу.

Ну и, наконец, встретил нас в этом бабье-кошачьем царстве и мужик – парень годков чуть-чуть за тридцать, а то и вовсе мой ровесник. Представился Толяном. Я подумал было: не тот ли это шустрый отчим, но по реакции и взгляду Лены понял – она тоже знакомится с Толяном впервые.

Интересные дела!

Вся сцена знакомства, несмотря на июльскую жару, была всё же холодновата, натянута. Лена заранее меня на это настраивала, но всё же я себя чувствовал не в своей тарелке. Совершенно не в своей! Поэтому за столом – вполне, надо сказать, праздничным: с салфетками, ножами, водкой и

шампанским – я нимало не медля опрокинул стопарь да сразу и второй, уравновесился после дасовских хмельных провозжаний и сразу взбодрился, посмотрел на новых родственников соколом. Поддержал меня охотно и Толян, так что вскоре мы с ним «Пшеничную» и приговорили. Он даже сорвался было в магазин сгонять за другой, но сурово хозяйскою был остановлен, утихомирен.

Виктория всё время чего-то дула губы и шампанского лишь пригубила. Ефросиния же свет Иннокентьевна, впитав добрый бокал вина, закурила и, прищуриваясь сквозь близорукость и сигаретный дым, меня *наблюдала*. Потом, что-то про себя решив, приступила к расстановке точек над буквой *i*:

– Значит так, молодые люди, мы здесь среди своих, – она выразительно глянула на уже пьяно-лупоглазого Толяна – тот сразу посуровел, перестал чавкать и греметь вилкой, – так что поговорим по-деловому. То, что вы решили зарегистрироваться – похвально. Ол райт! Думаю, и с работой у вас проблем не будет: судя по нашим газетам – в Баранове катастрофически не хватает профессиональных журналистов. А вот с жильём – проблема-с. Как видите, Вадим, у нас здесь развернуться негде... Тем более, судя по неожиданному отворачиванию Лены к вину и сигаретам, вы уже ожидаете прибавления семейства...

– Маман, – бесцеремонно прервала её Лена, – перестань разматывать свою бесцветную канитель. Мы с Вадимом и не

думаем ущемлять ваши права человека и на вашу паршивую жилплощадь нам начихать. Хотя, к слову, я как раз имею все права на одну из комнат – ну да подавитесь ею! Мы перекантуемся только неделю, пока не снимем квартиру. Надеюсь, вы займы-то дадите нам *шиллинг*ов на это – мы заработаем и вернём, конечно. Даже и с процентами...

– Процентов нам ваших не нужно, – затягиваясь «космосиной», скривила в усмешке губы Ефросиния Иннокентьевна, – зря ты в бутылку пытаешься залезть. И спешка ни к чему: можете хоть месяц жить.

– Ну и спасибо! – хмыкнула Лена. – Я же знала, что добрее моей маман на свете человека ещё поискать надо. Вы, Толян, её цените и любите как можно крепче – взасос.

– Хамка! – явственно прошипела Виктория от своей тарелки.

– А ты *май елда систа*, – повернулась к ней взбешённая Лена, – всё ещё в целочках ходишь? Смотри, прокиснешь вконец, совсем испортишься – приванивать начнёшь!..

Бедная страхолюдина выскочила из-за стола, метнулась в другую комнату. Да-а-а, уж действительно, жить нам здесь не придётся, да и невозможно.

Чуть позже, когда мы с Леной, погуляв по городу, вышли к реке, спустились на подвесной ажурный мост, перешли его и устроились на травяном пляже среди галдящей толпы отдыхающих барановцев, я всё же спросил её:

– Лен, почему вы с сестрой такие совершенно разные?

– Да потому, что я – Григорьевна и Михайленко, а она, напротив, – Наумовна и Танненбаум. Папаша её был махровый жид. И я не виновата, что мы с ней в одной и той же материнской утробе поочерёдно обитали.

– Ты, я вижу, антисемитка, – ухмыльнулся я. – Это – не по-советски и не по-комсомольски.

– Да какая я там антисемитка – типун тебе! Я только всего-навсего – юдофобка. Я боюсь Вику! Она ведь чуть не убила меня однажды. Я тогда училась в пятом классе, она – в десятом. К ней пришёл одноклассник что-то там списать на завтра, а она возьми, да и выскочи надолго – приспичило ей от волнения. Дома же никого, кроме меня, больше не было. Ну и так уж получилось: она тихо как-то вошла-вернулась, а этот мокрогубый её приятель целует меня, под кофтёнкой шарит, а я у него на коленях верчусь да взвизгиваю... Ещё пацанка совсем, смешно мне... Ты не представляешь: она с топором за мной гонялась и по квартире, и по двору – соседей насмешили, до сих пор хохочут. Она меня жутко с тех пор ненавидит и мне завидует – за что же я её должна любить? А-а, да ну её! Это мать-дура ложилась под кого попало – лишь бы член стоял да деньги были, а не подумала, что уродину родит завистливую...

– И несчастную, – добавил я.

Лена удивлённо глянула на меня, подумала и легко согласилась:

– Да, Виктория – несчастная... Зато у неё ума палата и та-

лант к деньгам. У неё уже, не в пример мамаше, – две сберкнижки. Она ещё и мужа отыщет, и счастливой будет, – Лена ещё подумала, как бы заглядывая в будущее, и уж совсем нелепо завершила предсказание. – Глядишь, тебя же и ото-бьёт у меня.

Не успел я в тон среагировать-ухмыльнуться, как она тут же и окатила прохладной водой:

– Впрочем, ты такой рохля, что вряд ли её всерьёз заинтересуешь. Ей загребастого мужика надо, еврейстого...

Дома, когда мы вернулись уже после обеда, нас ожидал небольшой, но поганый скандальчик. Мы обнаружили все наши чемоданы-ящики обсыпанными какой-то белой порошковой дрянью. В чём дело? Оказывается, из-под крышки одного из ящичков вдруг на глазах у всех вылез громадный рыжий таракан-прусак и, нагло шевеля усами, принялся осматриваться в новых апартаментах. Не успел он свистнуть своих сотоварищей, контрабандой приехавших в Баранов, как был с воплем прихлопнут Викторией туплёй, безжалостно размазан...

Родимый шустрый дасовский таракан – мир праху твоему!

3

В понедельник завертелась карусель.

Толян исчез ещё до рассвета. Ефросиния Иннокентьевна поехала в пединститут передавать приготовишкам-абитуриентам свои знания тогда ещё не столь обожаемого и популярного в России инглиша. Виктория, кроваво накрасив маленький поджатый рот, отправилась в родимый банк считать-пересчитывать чужие пока деньги. Шурик, с утра повяньгав и поуросив до слёз, была под нашим с Леной конвоем препровождена до вечера в казематы детского садика. Мы же стопы свои направили сначала в ЖЭУ, потом в паспортный стол, затем – во Дворец бракосочетаний.

Естественно, как водится в наших благословенных палестинах, повсюду мы получили звонкий отлуп: ЖЭУ и Дворец Гименя понедельник объявили не приёмным днём, в милиции паспортистка принимала лишь с двух дня.

Нет, воистину на Руси понедельник – день тяжёлый!

Стукнулись мы в этот день о стену лбами и в Доме печати. Редакторша «Комсомольского вымпела» гуляла в отпуске, а её зам, ответственный секретарь и парторг редакции Федосей Моисеевич Филькин по прозвищу Помидор, никак не решался взять на себя груз ответственности.

– Ой нужны, ох как нужны нам перья! Лето – все в отпусках. Ох нужны! – причитал-вертелся он, промокая платком помидорного цвета лицо. – Но как же я могу? Я не могу! Надо Василису Валерьевну подождать. Да и в обком комсомола доложить, так сказать, посоветоваться с руководством. Без этого нельзя-с!

При последних словах он как-то странно прогнулся, изобразил почтительность в физиономии. Я с некоторым удивлением наблюдал его: да-а-а, склизковатый тип.

– Но ведь Лену-то вы знаете отлично! Вы же сами ей рекомендацию на журфак давали и подписывали. А у меня вот – все документы: диплом Московского университета, вот публикации из «Комсомолки», «Лит. России», «Московского комсомольца», «Огонька», «Литературного обозрения», «Славы Севастополя»... А вот наградные дипломы журналов «Огонёк», «Смена», Союза журналистов СССР – это всё по итогам практик. Вот трудовая моя – я уже в газете работал, в Сибири...

– Понимаю-с, понимаю-с, – бормотал Филькин, жадно просматривая мои бумаги, – но надо всё же товарища редактора подождать. Субординация-с! – и он пристально-многозначительно уставился зачем-то на мою увечную руку.

Когда мы с Леной вышли, я спросил:

– Он, что – всегда такой?

– Бывает и хуже. Я знаю: он против тебя не посмеет вякнуть – всё же диплом московский, а вот против меня он выступает. Он сам в нештатниках, на гонораре, два года просидел и теперь считает – каждый должен этот путь пройти, прежде чем выслужить корреспондентское жалование. Одна надежда на Василису: она – старая дева, злюка, но как редактор и журналист поумнее Помидора, почеловечнее.

– Слушай, – остановился я, – а чего это мы к молодёжке

прицепились? А если – в «Барановскую правду»?

– Что ты! – усмехнулась Лена. – В областную газету берут только лучших из лучших бойцов пера, прошедших многолетнюю выучку-муштру во «Флажке». В молодёжке, кстати, бурлят два соцсоревнования: за право быть призванным в «Барановскую правду» и за право быть принятым в ряды капээсэс. Практически все наши областные *правдисты* – бывшие примерные и уже седые *флажковцы*...

Что ж, пришлось ждать-покориться. Впрочем, всё, что ни делается в этом лучшем из миров – всё к лучшему. Навалилось столько дел-забот, что и без работы-службы вертелись с Леной, еле поспевали. Прописались, подали заявление в загс, заказали мне протез, нашли-сняли квартиру, более-менее обустроились, начали готовиться к скромной, но всё равно обременительной свадьбе. С родичами мы, разъехавшись, зажили вполне мирно, по выходным порой наезжали в гости. Кстати, квартиру нам на самом краю города отыскала через знакомых Виктория, и она же сняла для нас с книжки 800 рублей. Мы сразу заплатили квартирной хозяйке 600 рублей за год вперёд и зажили припеваючи в отдельной однокомнатной берлоге, где имелось из мебели лишь двуспальная тахта и кухонный стол.

Вскоре и мои родные порадовали нас: матушка где-то наскребла-назанимала полтыщи, да Вадим Николаевич с Надеждой Михайловной из Луганска подбросили триста рублей. Так что мы мигом сообразили холодильничек «Вега»,

скромный маломерный телеящик под названием «Сапфир», простенькую радиолу «Серенада» да ещё кой-чего по мелочи. Ефросиния Иннокентьевна выделила нам на приданное трёхстворчатый платяной шкаф и два полумягких стула.

Свадьбу мы играли в доме на Фридриха Энгельса. Собралось человек двадцать, причём все – родственники: у Лены оказалось тьма-тьмущая тёток, дядек, кузенов и кузин, которых до свадьбы я и не видел и встречал потом только раза три-четыре – на похоронах семейных. С работы – а мы к тому времени уже служили в молодёжке – присутствовали на торжестве фотокор Юра со вспышкой и заведомо Люся Украинцева, томная молодая дамочка с чувственным блеском в полуприкрытых очах и лениво-барскими жестами. Она чуть было не стала причиной неприличного скандала, ибо приворожила вдруг сомлевшего Толяна да так, что Ефросиния Иннокентьевна, забыв про интеллигентность и гостей, вынуждена была буквально отрывать своего ловеласа от пышногрудой Люси, увлакивать «кобелину проклятого» в тёмную спальню и потихоньку хлестать там по щекам.

Я сидел во главе стола в белой рубашке, в галстук – напыщенным женихом и по пьяному хорному крику гостей «горько!» напоказ прикладывался к накрашенным губам Лены. Из левого рукава моего торчал новенький протез в светло-коричневой кожаной перчатке. Родственники новоиспечённые пересказывали друг дружке на ухо жуткую историю о том, как я по пьяни отпилил себе руку ножовкой, застав Ленку в

постели с двумя неграми...

На свадьбе было, одним словом, весело и пьяно.

Глава III

Как я чуть не стал отцом и диссидентом

1

Не знаю, не ведаю, советовалась ли в обкоме ВЛКСМ Василиса Валерьевна Перепелицына, но меня сразу зачислили в штат, корреспондентом отдела пропаганды.

Даже больше того – признали официально молодым специалистом, несмотря на мой свободный диплом. Мне сразу подкинули так называемые подъёмные и записали в льготную очередь на жильё.

Тут, я думаю, сыграло роль то, что я сразу глянулся редакторше – белобрысой сухопарой бледной девице бальзаковского возраста с крючковатым носом и круглыми совиными глазами. Вернее, глянулся ей сразу мой московский диплом: в редакции только она имела журналистский диплом, да и то – Воронежского университета. Ещё двое учились там заочно, остальные же, включая Филькина, получили скромное образование в местном педде или мучились там в вечерниках. Так что Василиса Валерьевна, подержав с почтением мой шикарный

ный *Ломоносовский* диплом в руках да ещё и просмотрев наградные дипломы столичных изданий, невольно воздала мне должное.

Но ещё более, как я позже узнал, поразила и сразила её одна казалось бы мелочь, и это доказывает непреложную истину: мелочи – краеугольные камни нашей судьбы. Дело в том, что её, Перепелицыной, ещё в редакции не было в тот день, когда мы пришли устраиваться, и мы с Леной, ожидая её, сидели в кабинете Люси Украинцевой – болтали-покуривали. Раскрылась дверь и вошла женщина. Я встал, поздоровался.

И вот это редакторшу потрясло до глубины её сухопарой души: слыхивала она да читала, будто бывают мужчины, которые встают при даме и здороваются первыми, но ранее встречаться ей с таковыми не доводилось. Вот и произошло так, что своё высокое реноме в её глазах я невольно обеспечил с первой секунды. Она и Лену сразу взяла на договор, как раз к Люсе, в отдел писем, и пообещала тотчас же перевести её в штат, как только Лена перейдёт на заочное и привезёт трудовую.

– Только, – многозначительно подчеркнула Василиса Валерьевна, упершись взглядом в совершенно плоский замаскированный животик Лены, – я надеюсь, что в ближайшее время не придётся искать тебе замену, а?

– Нет-нет! – в голос соврали мы с Леной, так как заранее предвидели такой намёк. – Мы пока не планируем увеличи-

вать население страны.

– Вот и хорошо, – с нескрываемым удовольствием подытожила переговоры редакторша, – ещё успеете, а пока надо поработать. Подписка падает, писем от читателей всё меньше. Я на вас надеюсь. Мы должны сделать «Комсомольский вымпел» по-настоящему боевым органом барановской молодёжи!..

В воздухе зазвенели невидимые фанфары и трубы, застучала барабанная дробь. Василиса ещё минут десять ораторствовала, а я смотрел на неё и думал: «Вот-вот, сейчас она выкрикнет наконец про то, что она и сама подполковничья дочь...»

Не выкрикнула.

Но ведь поразительно: как я потом узнал, за спиной её звали за её не женскую деловитость и суровость Василием, но почему-то никто не обыгрывал её столь удивительную литературную фамилию. И только много позже до меня дошло: да никто из ребят просто-напросто не читал повесть Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Каюсь, я приложил много сил, я сам вычитывал вслух кусочки из бессмертной повести классика *флажковцам*, заставлял-упрашивал их читать «Село Степанчиково», и уже вскоре редакторшу перестали оскорблять мужским именем, а стали все называть – девицей Перепелицыной. Разумеется, кроме Филькина и ветерана редакции Шестёркина. Ребятам же в наслаждение было впервые читать:

Из дам я заметил прежде всех девицу Перепелицыну, по её необыкновенно злому, бескровному лицу...

– Я Бога боюсь, Егор Ильич; а происходит всё оттого, что вы эгоисты-с и родительницу не любите-с, – с достоинством отвечала девица Перепелицына. – Отчего вам было, первоначально, воли их не уважить-с? Они вам мать-с. А я вам неправды не стану говорить-с. Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь...

Отдел пропаганды состоял из двух человек: заведующего и корреспондента, то есть – теперь меня. Возглавлял его невысокий интеллигентного вида парень лет тридцати – Андрей Волчков. На шее под рубашкой у него был повязан шёлковый платок – а-ля Андрей Вознесенский. Меня поначалу насторожило-покорило название отдела – я хотел писать о литературе и культуре, но Лена объяснила-успокоила, что именно этот отдел этим и занимается помимо пропаганды и агитации, да к тому же возглавляет его поэт. При знакомстве я без обиняков сразу предложил:

– Андрей, если вы не против – давайте на ты. Я тоже пишу стихи – хочешь взглянуть?

Он несколько недоуменно глянул на меня, замялся, потербил свой поэтический платок, но я усилил напор. Чего, действительно, двум поэтам жеманничать-мандаринничать. Как там у Маяковского?.. *Дай руку, товарищ по рифмам!*

– Давай-давай, посмотрим, покритикуем друг друга. У тебя, я слышал, книжка уже вышла?

– Ой, какая там книжка! – зарделся Андрей, помягчел. – Так, книжечка – меньше двух листов. Вот, посмотри, если интересно.

Я обменял его книжечку-брошюрку на свой коллективный сборничек и газетные вырезки. Принялся читать. И тут же понял, что попал в конфуз. Андрей Волчков проживал-обитал совершенно в другом, отличном от моего, поэтическом мире – в *антимире*. Он оказался крайне-бескрайним авангардистом. Сборничек его назывался «*Близко-дальний перенедоход*». Сейчас я не воспроизведу уже ни строфы – такие «стихи» просто-напросто не запоминаются. Рифмы приблизительны или их нет вовсе, ритм напоминает езду на мотоцикле по лестнице, мелькают в изобилии имена Хлебникова, Пикассо, Малевича, Заболоцкого и почему-то Аллы Пугачёвой. То и дело проваливаешься в бездонную заумь вроде:

Ничего не было, а если даже и было, всё равно не было, так как быть не может того, что не может быть никогда в мире, где ничего не было...

– Ну, как? – усмехнулся Андрей, пробежав взглядом по моим хорям и ямбам. – Понравилось?

– М-м-м... – замычал я телёнком, – ты вот тут пишешь: мол, тебе сейчас не до макулатуры, что, дескать, пионеры её соберут... Это ты чересчур... А вдруг, представь, вот эта твоя книжечка – совершенно, разумеется, случайно – попадёт в макулатуру и будет валяться среди рваных бумаг от-

крытой именно на этой странице... Представляешь?

Я всерьёз уже завёлся, полез в чекушку, собрался разжечь-развести дискуссию о поэзии мнимой и подлинной, как вдруг раздался смех. Андрей всохотнуул то ли искренне, то ли в натугу.

– Вот что, Вадим, давай с этого дня забудем в нашем отделе про разговоры о поэзии. Здесь будем только журналистами – идёт?

Я, конечно, охотно согласился. Каждый из нас, пишущих, мнит себя гением. А двум гениям, как и двум медведям, в одной берлоге не ужитья. Так что мы с Андреем поступили мудро и дальновидно.

И дела у нас пошли поначалу неплохо. Самый мой первый экзамен – репортаж о поездке агитбригады в поле – я выдержал. В материальчике я наворотил таких метафор, эпитетов, синекдох и всяких прочих тропов, что получился прямо-таки не репортаж, а – поэма в прозе. Обыкновенно статьи, репортажи, корреспонденции и даже очерки в областной молодёжной газете начинались так: *«Выполняя решения съезда КПСС...»* Или: *«Как подчеркнуто в решениях последнего пленума обкома ВЛКСМ...»* Или: *«Руководствуясь Ленинскими заветами...»* Я же сдуру и по неумению начал так: *«Асфальтовый тракт – словно бесконечный сухой мост через скучные, промокиие насквозь поля и перелески. По нему солнечным зайчиком резво мчится светлый автоклуб – передвижной цех хорошего настроения...»* Мало того, я и снимаю-

чек сварганил – щёлкнул девчат-агитбригадчиц своим «Киевом», а уж фотокор Юра отпечатал снимок.

Андрей просмотрел-почитал – удовлетворённо хмыкнул. Я чуть перевёл дух: с первых ещё шагов в газетном деле я болезненно терпеть не мог чужой правки, вмешательства в мною рождённый текст. Волчков понёс мой первый блин редакторше. Я опять напряжился: мне известно уже было о маниакальной страсти Перепелицыной влезать в чужой текст, черкать-править подчинённых безжалостно. Она считала себя особенно хорошим и беспристрастным *редактором* именно в первом, изначальном значении этого латино-французского слова.

Звякнул внутренний телефон:

– Вадим Николаевич, зайдите.

Я отправился в редакторский кабинет, изготовившись к бою. Но вдруг наткнулся на довольную улыбку Василисы.

– Неплохо, Вадим Николаевич, весьма неплохо – свежо, язык образен, да и снимок экспрессивен. Не ожидала... – она взглянула мельком на протез. – Только, Вадим Николаевич, если вы не против, я бы добавила в заголовок слово «поющий» – «Весёлый “Луч” поющий». А?

Я держал машинопись в руке, видел, что ни единой буковки не поправлено, потому с лёгкостью уступил: поющий так поющий. Хотя, конечно, это уже нечто слюнявое, сюсюкающее и дамско-комсомольское...

Ну, да – Бог с ней, пушай потешится!

В общем, дела пошли. Андрей оказался начальником не самым занудным и пижонистым. Все темы – и противные (всякие там политучёбы да соцсоревнования), и *нормальные* – делили мы пополам. Единственное: литературную полосу он старался делать сам, единолично. Вернее, тут он дрался не на жизнь, а на смерть с Филькиным, который, во-первых, завистливо недолюбливал Волчкова, а во-вторых, почему-то считал самого себя очень большущим спецом в литературе, да и сам пописывал графоманские рассказы для детей под Бианки и Пришвина. Наивысшим достижением в изящной словесности ответсек почитал социалистический реализм.

В результате борьбы Волчкова с Филькиным выходили в свет дикие литполосы «Комсомольского вымпела»: половину заполняли рыбацко-охотничьи байки, дебильные рассказы о счастливых колхозниках да стишата о комсомольском билете; другую – запредельные творения членов литобъединения «Колледж абракадабры», который тогда только ещё создавал и пестовал Андрей Волчков. Я в эту битву двух чокнутых по-своему литгигантов редакционных пока не вмешивался, не встречал. И, уж само собой, стихи свои в газету не предлагал: они были далеки и от шизоавангарда, и уж во все ни с какой стороны не лепились к агитной комсомольско-партийной поэзии.

Коллектив «Флажка» оказался не особо-то дружным: сидели по углам, отписывались, соцсоревновались, в душу друг другу не лезли. Имелись и весьма любопытные особи. На-

пример, отдел комсомольских будней возглавлял реликт, уникум – Шестёркин Моисей Яковлевич. Видимо, в истории областной комсомольской печати страны он был единственным, кто досидел в молодёжке до пенсии. Про него с Филькиным ходила едкая подколка: будто, мол, сорокалетний Федосей Моисеевич есть родный, но внебрачный сын Моисея Яковлевича.

Чуть ближе я сошёлся, на портвейно-пивной почве, с корреспондентом отдела комбудней Осипом Запоздавниковым. Ося, здоровый, мордатый и краснощёкий парень, со смоляной солидной бородой и нелепой пижонской трубкой в сочных губах, ходил по редакции, словно наложив в штаны – задумчиво и в раскоряку, совсем отрешённый. Оказалось, он переживал страстный неземной роман с практиканткой Дашей Михайловой. Я её видел пока только мельком: практика уже закончилась, и она укатила в Воронеж учить далее теорию журналистики. Ося, заочник этого же университета, уже бродил-мечтал о зимней сессии, рвался в столицу Черноземья, предвкушая новые сладкие и хмельные, как портвейн «Агдам», поцелуи.

Вторым и последним корреспондентом у Шестёркина в отделе работал Саша Кабанов, которого звали и в глаза и за глаза не Кабаном, не Свинтусом не Щербатым, наконец, как вроде бы напрашивалось (у него не хватало верхнего переднего зуба), – а Пушкиным. Потому что имя-отчество он имел – Александр Сергеевич и страстно любил творчество вели-

кого тѣзки. Саша, в ожидании квартиры, ездил от молодой жены с сынишкой за двадцать вѣрст из соседнего Будѣнновска ежедневно.

С Александром мы сдружились. Да и вообще первое время я со всеми ладил, даже с невозможным Филькиным. Не предполагая, что чередá чѣрных дней моих уже подступает. Длинная чередá!

2

Уже в концѣ октября разорвалась первая мина.

Лена всю пахала в отделе писем, моталась в командировки, тщательно скрывая от посторонних взглядов живот. Впрочем, при еѣ комплекции-конституции скрывать было почти нечего, хотя – по еѣ прикидкам – шѣл уже седьмой месяц. На семейном советѣ мы решили с ней, что сразу после октябрьских праздников откроемся-сознаемся начальству – пора и в декрет. Я уже заранее морщился, представляя, какую истерику закатит девица Перепелицына, как примется вонять ханжа и фарисей Филькин.

В предпраздничную пятницу Лена дежурила по номеру и до обеда отдыхала дома. Вернее, она поехала с утра к матери, которая сидела с ангиной на больничном. Это еѣ, Лену, и спасло.

Часов в одиннадцать Андрей постучал мне в стену кула-

ком – телефоны у нас стояли параллельные. Я взял трубку.

– Это – Неустроев?

– Да.

– Звонят из второй больницы. Ваша жена – на операционном столе. Положение тяжёлое. Срочно нужна кровь...

Голос брезгливый, раздражённый и то ли мужской, то ли женский – не понять. Кто-то упёр-воткнул мне палец в сердце и сбил его ритм.

– Какая жена?! В какой больнице?! Что за шутки!!!

Гермафродитный голос раздражился вконец:

– Хватит болтать-то! Нужен литр крови – немедленно!

И – обрывистые гудки.

В прострации я плавал минут пять, затем, как и бывает в таких обвальных ситуациях, ринулся действовать на автомате.

Я ворвался, не постучавшись, к редакторше. У той сидела какая-то девица. Ах да, это же – то ли Степанова, то ли Васильева, то ли Михайлова... А – чёрт с ней!

– Василиса Валерьевна, жена, Лена – в больнице! Кровь нужна! Мне бежать надо! Машина здесь?

Шефиня, надо сказать, женщина действительно хладнокровная, властно приказала:

– Сядьте, Вадим Николаевич, сядьте и – по порядку. Что случилось?

Садиться я не стал, но повторил-рассказал всё более-менее внятно.

– Ну, а кровь-то какая – группа, резус? – деловито уточнила Перепелицына.

Я лишь глупо пожал плечами. Михайлова (точно – Михайлова!) вдруг встряла:

– А в какой больнице?

– Во второй! – досадливо рявкнул я: ишь, разлюбопытничалась.

– У меня там тётя работает. Я сейчас узнаю, – поправив громадные модные очки, приподнялась Михайлова. – У жены вашей фамилия ваша – Неустроева?

Я молча кивнул. Михайлова взялась за телефон, принялась накручивать диск, а я обессилено опустился на её место, уставился ей в спину, невольно – *ох, широк человек!* – скользнул взглядом вверх-вниз: да-а-а, у Оси губа его толстая не дура. Совсем не дура! Как же её?... Да, точно – Дарья.

Она что-то говорила в трубку, потом ждала, опять говорила, поддакивала, спрашивала. Редакторша в это время названивала по внутреннему, искала Эдика-водителя по отделам. Наконец Михайлова пристроила трубку на рычаг, поправила очки.

– Значит, так. Неустроевой Елене Григорьевне сейчас делают кесарево сечение. Состояние её не очень хорошее. Ей переливают кровь. Кровь эту потом надо возместить больнице – любой группой и резусом. Такие правила.

Я сам был ошарашен, но краем глаза углядел, как выпучила свои глаза-ледышки Перепелицына при *кесаревом сече-*

нии. Но, к чести её, она тут же скрутила себя, сухо обронила:
– Машина внизу. Водителю я сказала – он довезёт вас до больницы... Кстати, Елена Григорьевна сегодня дежурить должна была?.. Хорошо, я найду замену. И вы сегодня, разумеется, свободны. Материалы в номер все сдали?.. Впрочем, ладно. Обязательно позвоните мне сюда или домой после *всего* – я должна быть в курсе.

Я лишь кивнул гудящей головой, выскочил из кабинета и опрометью бросился по коридору и лестнице.

– Неустроев! Эй! – послышалось сзади.

Я обернулся – Дарья Михайлова.

– Подождите, я с вами поеду, а то вас никуда там не пустят.

По дороге в больницу, в южную часть города, ходу – минут двадцать. Михайлова пыталась что-то говорить-расспрашивать, Эдик-балагур даже всохотнул чего-то пару раз, но я не слушал. Мысли в голове плясали-вертелись словно номерные шарики в крутячем лототроне. Неужели я сегодня стану или уже стал отцом? Я – отец! Папаша! Родитель!..

Через полчаса незнакомая мне Дарья Михайлова, морщась от жалости, разъясняла-втолковывала мрачные вести: операция случилась экстренная – ввиду внезапного кровотечения. Ребёнка, мальчика, вынули уже мёртвым – асфиксия...

– Что такое – «асфиксия»? – тупо спросил я.

– Удушение. У него пуповина вокруг горла затянулась.

– Выходит, – пробормотал я, – он как бы сам там и повесился – не захотел жить-то...

Я посмотрел в тёмные глаза Дарьи, вздумал зачем-то усмехнуться и – не смог. И вдруг, уткнувшись лицом в пальто и лисью шапку Лены на своих коленях, зарыдал.

Уже через мгновение я задавил-зажал позорные прилюдные всхлипы, но голову ещё с минуту не поднимал, умоляя про себя: да уйди же ты! Ну, уйди!.. Однако ж Михайлова продолжала торчать надо мной.

– Она под наркозом будет сутки. Вам лучше пойти сейчас домой и отоспаться.

Я погасил усилием воли вспышку ярости: действительно, чем же эта запоздавниковская подружка передо мною виновата. Я, наконец, вытер-высушил все слёзы о клетчатый родимый драп и лисий мех, поднял глаза.

– Да, конечно. Только сейчас не отсыпаться надо, а – напиться. Да, вот именно, хорошенько выпить и сразу станет легче – уже проверено...

Я ждал возражений. Их не было.

– Вы со мной ещё побудете?.. Хоть немного...

Она молчала долго, смотрела в сторону. Глянула на часы.

– Что ж... Часа полтора у меня есть...

Я до последнего сам себя обманывал-уверял, будто мне остро, до смерти нужно всего лишь общение с *человеком*. С любым – без различия пола, возраста и внешних данных.

А то, что рядом оказалась именно эта темноволосая и кареглазая полунезнакомая мне девушка, преисполненная ко мне кратковременным участием, – дело случая.

Странно, но весь час, пока мы шли, заходили в магазины, потом, уже добравшись через весь город домой, накрывали стол, мы – молчали. Только самые необходимые, дежурные слова: да – да, нет – нет, спасибо – пожалуйста...

Я сразу начал пить «Рябину на коньяке» стаканами. Я и набрал целых два литра этой сладкой, но беспощадной настойки, чтобы упиться. Дарья, по сравнению со мной, лишь пригубливала, однако ж и на неё коньячная рябина вскоре начала действовать. Мы уже о чём-то говорили... Что-то она рассказывала, что-то я бормотал упорно про такое странное и чудесно-многозначительное совпадение фамилий – Михайлова и Михайленко... Михайленко-Михайлова...

Позже, уже подпьянев, я принимался раза два плакать – так хотелось выжать из неё побольше жалости, сочувствия, сострадания...

Вдруг – я обнаружил – мы уже танцуем под тягучие плаксивые песни Демиса Руссоса. В комнате горела настольная лампа – шторы были плотно задёрнуты. Даша была почти с меня ростом, но низко опустила лицо, и я смотрел сверху на её опущенные длинные ресницы под очками и бередил себе душу, терзался: зачем всё это? Разве это возможно? Свинья же я! Грязная свихнувшаяся свинья!

«Гуд бай, май лав, гуд бай!..», – пронзительно стenal ка-

стрированный грек, задевая томительным своим голосом потаённые струны пьяной души. Я правой рукой приподнял лицо чужой юной женщины за подбородок и поцеловал. Вначале легко, *вопросительно*, и, не встретив отказа, приник к её губам уже по-настоящему, чувствуя во всём теле вскипание горячей волны.

– Зачем это? Не надо, – прошептала Даша, когда я оторвался наконец.

Но глаза её затуманились, поплыли, призывно-притягательно заблестели. Я молча, грубо начал расстёгивать неуловимые пуговицы её кофты и снова алчно приник к её губам.

Она раздвинула губы, поддалась, ответила...

3

Праздники промелькнули в беготне, пьянстве и скандалах.

Бегать пришлось по магазинам да рынку в поисках курицы и фруктов: хорошо хоть перед красным днём премию в редакции подкинули – по сорок рубликов. Пить же приходилось и для нервов и для поддержания бегательных сил – только рябина наконьяченная и помогала. Ну, а скандалить-ссориться довелось у родичей – расплевался с ними напрочь. Вернее – с Викторией.

Дело в том, что сама Ефросиния Иннокентьевна донором

стать не могла ввиду жестокой температурной ангины, алкаш Толян уже давно получил отставку, а замены ему ещё не отыскалось, сорванец Шурка не подходила для кровопускания по возрасту. А вот единоутробная сестра Лены, эта самая Виктория-сука, зажала напрочь свою драгоценную жидовскую кровь: нет и всё – без всяких объяснений.

Курва!

Во вторник, после праздников, я сидел в своей каморке на работе и мучительно прикидывал-раздумывал: у кого бы из коллег выпросить крови взаймы да так, чтобы не напороться на отказ. Кроме меня, требовались ещё два донора, и в больнице предупредили: кровь возвернуть немедленно, иначе... Что там *иначе* – чёрт её знает, эту нашу самую лучшую в мире бесплатную медицину. Конечно, из больницы Лену не вышвырнут, но ожесточать против неё доблестных и *бескорыстных* эскулапов всё-таки не следует.

И – как назло: мой зав, Андрей, укатил в командировку, Саша Кабанов ещё не приехал из своего Будённовска, а может – с похмела-то – и вовсе не появится. Не старику же Шестёркину кланяться и, уж тем более, не Филькину... С самого утра я сунулся было к водиле Эдику, хотя мне весьма почему-то претило, чтобы кровь его жизнерадостная и жирная попала в артерии моей жены. Впрочем, чего это я? Кровь-то чужая уже давно циркулирует в теле Лены, а эта ещё неизвестно кому попадёт. Но негодяй мордатый Эдик заюлил задом и бесстыжими своими зенками: дескать, ему сейчас в

обком шефиню везти, а потом – в район...

Оставался ещё Осип Запоздавников, но вот его-то я уж ни за какие коврижки не желал делать своим *кровным* родственником... При воспоминании о пятнице всё во мне вздрагивало, температура поднималась...

Вдруг дверь без стука отворилась, и вошла Даша. Я испугался, привстал. Вот чего я не хотел – и искренне не хотел! – так это продолжения... Она прикрыла дверь и, не отпуская ручку, сощурилась на меня сквозь очки – строго, поучительно.

– Привет. Я думаю – лишне говорить, но на всякий случай: *ничего* и *никогда* между нами не было. Ясно?.. А зашла я вот зачем: если кровь ещё нужна – я могу сдать.

– Что ты! – даже вскрикнул я, глянув на её прозрачные запястья. Да и при чём тут запястья! Уж от неё-то кровь ну никак невозможно принять. – Не надо, не надо! Я нашёл уже...

– Ну, что ж... Я сейчас уезжаю, – она приоткрыла дверь и с порога вдруг добавила. – А жену, между прочим, любить надо...

И она странно, как-то *победительно*, что ли, с каким-то плотоядным женским довольством усмехнулась...

Потом весь день, пока мы с появившимся таки Сашей Пушкиным и фотокором Юрой ездили сдавать кровь, пока я относил передачу Лене в больницу, пока сооружал дома яично-сосисочный ужин и опохмелялся, – я всё вспоминал эту непонятную ухмылку странной Дарьи Михайловой. Неужто

она и впрямь любит этого тюфяка Осипа, выйдет за него замуж?..

Хотя – какое мне собачье дело! Мы с нею из разных миров, разные люди, да и вообще она не в моём вкусе. Бог с ней – пускай живёт своей жизнью и как хочет.

Наутро я слегка опохмелился, забил преступный запах таблеткой валидола (пахучих отравных жвачек тогда и в помине у нас не водилось!) и отправился на службу. То ли опохмелился мало, то ли достала тягучая мрачная музыка, которую канителили по радио, словно издеваясь над милицеемским праздником, но на душе было неизбывно пасмурно. Притом, оберегая в суматошном скандальном троллейбусе сидор с больничной передачей и увечную руку, я вконец измотался-выдохся.

Всё, решил, до обеда отмучаю и – в пивбар...

По динамику по-прежнему мотали нервы кладбищенские марши и фуги. Что они там, на радио, совсем сбрендили-шизанулись? Когда я, уже перед уходом на обед, в очередной раз крутанул регулятор громкости – всё разъяснилось.

...с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 ноября 1982-го года в 8 часов 30 минут утра скоропостижно скончался Генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Имя Леонида Ильича Брежнева – верного продолжателя великого ленинского дела, пламенного борца за мир и коммунизм – будет

всегда жить в сердцах советских людей и всего прогрессивного человечества...

Ба-а! Орденоносный *бровеносец* скапустился! Вот так дела!

Первая мысль сразу: ну, всё, теперь не смыться – сейчас закипит свистопляска. Правда, начальство блистало своим отсутствием: Филькин пасса в обкоме ВЛКСМ, а Перепелицына только с полчаса тому покатила в район на какую-то комсомольскую конференцию. Я заглянул к Волчкову. Он, придерживая левой рукой лист бумаги в каретке пишмашинки, методично долбал одним пальцем правой, с каждым ударом двигая бумагу вверх-вниз, вправо-влево. Я понял – Андрей сочиняет-рисует свои стихи в стиле изопоэзии.

– Андрей, слышал?

– Нет! А – что?

– А то! Генеральный секретарь цэка капээсэс товарищ Леонид Ильич Брежнев умре.

– Как *умре*? Да ты что!

– Вот и что! Радио-то включи.

Андрей послушал несколько минут надрывно-скорбный дикторский стон. На лице его блуждала растерянная улыбка. Да и то! Когда умер Сталин, Андрей ещё под стол пешком свободно хаживал, а я вообще был сосунцом. Не имели мы опыта общегосударственной скорби, никак не выжимались слёзы из наших беспартийных зачерствелых душ – лишь тревога и растерянность: а что же теперь будет?

– Ну, что – помянуть надо? – предложил я для блезиру, прекрасно зная, что Волчков – убеждённый трезвенник-язвенник. – Короче, я сметаюсь моментом на пару кружек пива?

Андрей, разумеется, особо препятствовать не стал моему благородному поминальному порыву, но только я отправился к себе за курткой, как из лифта нарисовался взбудораженный Филькин и, мчась галопом по коридору, завопил:

– Все ко мне! Всем срочно на летучку!

Я, чуть не матюгнувшись, топнул с досады ногой и поплёлся к нему. Стоило мне зайти, как Филькин, пристраивающий болоньевую хламиду свою в шкаф у дверей, тут же завертел чутким носом, взялся принюхиваться – похмельная терпкая настойка, увы, явно поборола нежный валидольный аромат. В другой раз я бы тут же получил своё сполна, но теперь, *в час страшной всенародной беды, свалившейся на страну, великую коммунистическую партию и всё человечество*, мой опохмельный грех стушевался-померк. Помидор лишь сжал в ниточку губёшки свои и просвистел:

– Ну, Неустроев, с-с-совс-сем!..

Однако ж тут вошёл Волчков, за ним Люся Украинцева, Шестёркин и другие.

Не буду даже сейчас, спустя годы, выдавать страшные государственные тайны и рассказывать, как проходили редакционные планёрки, притом – экстренные. Через двадцать минут мы разбрелись по своим кабинетам-камерам с зада-

нием огромной политической важности: организовать по два искренних отклика от скорбящих советско-барановских тружеников. Притом – вот самая трудность! – один отклик обязательно должен быть из глубинки, от простого работяги.

Я знал, что, например, Люся Украинцева уже через пять минут сочинит *свои* отклики, как она сочиняет большинство писем о несчастной, якобы, любви и грустном одиночестве, печатаемые в нашей газете и подписанные – Оксана Н. или Марина С. Мне тоже не составило бы труда накропать двадцать кратких строк от лица мифического механизатора Ивана Сидорова из Гавриловки, но, увы, никак не мог я приловчиться скручивать свою дурацкую натуру, откровенно и стопроцентно халтурить. Я научился лишь полухалтурить.

С первым псевдооткликом я справился довольно быстро. Шустро заготовив болванку, я звякнул заведомо пропаганды обкома комсомола Дурыкину, нашему с Андреем куратору.

– Скорбишь?

– Скорблю.

– Фамилии твоё поставлю?

– Ставь.

– Текст-то хоть послушай.

– Да брось ты!

– Нет-нет, послушай, на всякий пожарный:

Наша страна понесла тяжёлую утрату. Ушёл из жизни верный сын партии и рабочего класса, продолжатель дела

В. И. Ленина. Под его руководством советский народ добился больших ...бед в коммунистическом строительстве...

Я отдолдонил весь текст, Дурыкин поддакивал, не расслышав проскользнувшее «бед» вместо «побед». Эх, если б вот так и дать в газету – всё равно никто читать не будет. Но я уже учёным был – обжигался, так что со вздохом пририсовал приставку «по», исказив истину.

Готово!

А вот с глубинкой пришлось повозиться. В районы дозваниваться надо было через *барышень*, которые, приняв заказ, забывали о нём напрочь. Я застолбил на всякий случай сразу три района и настропалился всё же рискнуть – прогалопировать аллюром до пивной. Но тут неугомонный Филькин потребовал меня к себе и озадачил новым спецзаданием: раскопать в редакционном архиве подшивку областной молодёжки за 1953-й год, которая называлась тогда «Юный сталинец». Ответсек наш явно вознамерился слямзить-сплагатничать макет траурного номера газеты.

Короче, к концу дня, когда впёрлась ко мне наша редакционная машинистка Фёдоровна – оплывшая востроглазая женщина давно уже некомсомольских лет, – я сидел на своём стуле взвинченный, измотанный и встопорщенный донельзя. Фёдоровне же, сплетнице, хотелось почесать свой вёрткий язык. Она удобно укопошилась в кресле для посетителей, запричитала-заохала:

– Надо же! Вишь ты, горяшко-то какое! И кто бы мог по-

думать!..

– Какое такое «горюшко»? – буркнул мизантропно я.

– Как какое?! – выпучила лисьи свои глаза старая лахудра. – Шутишь ты, Вадим, ни то? Леонид Ильич...

– Да мне отец родной, что ли, этот ваш Леонид Ильич? – сорвался вконец я. – Помер – туда ему и дорога, маразматiku! Он ещё лет пять тому помер, да его уколами оживляли... И-и-и, вообще, Алевтина Фёдоровна, мне срочно звонить надо...

Я схватился за трубку телефона, выжидаяще упёрся чёрным взглядом в назойливую бабу. Та поджала губы, сморщила бородавчатый нос и, всем своим видом говоря: «Ну-ну! Это тебе даром не пройдёт!», – оскорблёно выплыла из кабинета. Я швырнул трубку, выхватил шарф с курткой из шкафа: а идите-ка вы все к чёрту! И Филькин, и Леонид Ильич, и Фёдоровна!

Вот возьму и надерусь сегодня в стельку!

И я – надрался...

4

Прошло несколько дней.

Ильича № 2 уже закопали, уронив при этом гроб, что всегда на Руси свидетельствовало об адовой будущности покойника. И вот как-то утром ко мне в кабинет проник, вежливо

постучавшись, довольно молодой человек, моих лет – бело-брысый, со светлыми свинными ресницами, водянистыми глазами, улыбочивый и говорливый. Одет посетитель был изящно и, не в пример мне, явно по моде: серая пиджачная пара, кремовая рубашка, галстук с искрой, светлое широкоплечее пальто в ёлочку, норковая шапка, которую он снял и чинно держал на коленях. Я даже нагнулся за упавшей *вдруг* ручкой – взглянуть на обувь: что ж, и сапоги этот щёголь носил забугорные, *изячные*.

Подобных франтов я, признаться, не весьма долюбивал, а может быть, я просто им завидовал. Сам я по моде одеваться не умел, да и финансов никогда на это не хватало. Раздражало в посетителе и то, что физия его прилизанная и бесцветная смутно мне припоминалась. Нет, явно я его где-то встречал-видел и притом не так уж и давно.

– Нехорошев, Аристарх Маркович, – представился, оглаживая белесые волосики, посетитель и, мило улыбнувшись, добавил, – впрочем, можно просто по имени. Я надеюсь, Вадим... Э... что мы станем друзьями.

Явно не поэт начинающий и не юный корреспондент – из кожаной светлой папки, родственной моей протезной перчатке, рукопись доставать не спешит. Где я всё же его видел?

И заструился какой-то странный двусмысленный разговор, похожий больше на допрос. Где я родился? Где жил? Почему именно в журналистику подался? Как удалось опубликовать стихи в «молодогвардейских» сборниках? Какие

комсомольские поручения выполнял? Почему в партию заявление не подаю? Действительно ли я считаю, что в «Комсомольском вымпеле» работают слабые журналисты и газета никуда не годится?..

Признаться, никогда до этого мне не приходилось сталкиваться с *этими* людьми, поэтому я врубался долго и медленно. И тут – когда он заговорил о газете – я резко, высверком, вспомнил: как-то, с месяц назад, в день получки я, будучи уже изрядно подшофе, потянул Лену в ресторан – поужинать беззаботно, расслабиться. Она отказалась наотрез. Я, само собой, взбрыкнул, плюнул, попёрся в «Центральный» одинёшеньким.

Там я моментом чокнулся-скорешился с каким-то парнем, мы легко сошлись-разболтались, добавляя и добавляя разбавленной водочки под гуттаперчевый антрекот с обугленным картофелем и витаминный салат из позапрошлогодней скисшей до последнего предела капусты. Официантка вскоре посадила к нам ещё двоих посетителей...

Да-да – я вспомнил, – вот этот прилизанный Нехорошев и был одним из тех новоявленных соседей по столику. И – вот именно! – я даже запомнил его водянистый, но упорный взгляд на меня, когда я взяхлёб и пьяно жаловался новому своему ресторанному приятелю, как тяжело мне в этом рутинном псевдоколлективе псевдожурналистов, и какая всё же препаршивая и суконная газетёнка – этот «Комсомольский вымпел»...

В пьяном виде я, чего уж скрывать, бываю препорядочным поросёнком!

– Это вы были – в «Центральном»? – отрывисто спросил я, глянув на него в упор.

– Я? – изобразил он удивление, но тут же скорчил личико в усмешливую гримасу. – Запомнили, значит? Узнали? А я уж думал... Вы, простите, были... Хе-хе! Я за вами наблюдал – пьянеете вы быстро...

– А вы, собственно, кто? – натопорщился я, никак не улавливая смысла в его нагло-хозяйском тоне.

– Я?... А разве я не сказал? – он похабно разыграл искреннее недоумение. – Видите ли, Вадим Николаевич, я – из *органов*. Я курирую, так сказать, Дом печати – вот и решил с вами поближе познакомиться. Что ж тут странного?

– Странно то, что я с вами знакомиться не хочу – вот так!

О, тогда мною уже был прочитан самиздатовский оглушающий «Архипелаг ГУЛАГ», ненависть Александра Исаевича к *этим* людям уже органично влилась в мою кровь. И вот впервые образчик этого удушающего лубянского племени сидел передо мной вплотную, со мной общался, искал контакт.

Я ожидал, что после слов моих он оскорбится и хлопнет дверью. Не тут-то было.

– Вы не кипятитесь, Вадим Николаевич, – доверительно склонился он ко мне. – Видите ли, журналистика – это не просто профессия, это, так сказать, *почётная* профессия, в

которой не каждый достоин работать. Притом – в отделе пропаганды. А вы, к тому ж, не член партии и, как мне известно, даже заявляли громогласно: мол, и не собираетесь вступать, что, якобы, в неё только фарисеи вступают да карьеристы. И уж совсем нехорошо, что вы позволяете себе странные, прямо скажем – очень странные выражения в связи с кончиной Леонида Ильича Брежнева... Очень странные!

Я молчал, оглушённый. Нехорошев усмотрел, видно, в моём молчании благоприятный для себя знак.

– Ну, вот и ладненько. Я думаю, это у вас не от убеждений, а от экспрессивности характера. Так ведь? Так? Ну и винцо свою роль играет, винцо-то – ух какой сильный и коварный враг... Язык не то и сболтнёт! Подумайте над этим. Пока я с вами прощаюсь, но вскоре ещё загляну. До свидания, Вадим Николаевич.

Он привстал, приладил на голову шапку, начал застёгивать пальто.

– Не надо, – сказал я осипшим голосом, глухо.

– Что? Что вы сказали? – обернулся он от двери.

– Не надо ко мне больше приходить, – уже твёрдо, прокашлявшись, повторил я.

– Ну-ну, не надо быть таким категоричным, – снисходительно усмехнулся склизкий норковый товарищ из барановской Лубянки и растворился за дверью.

Чуть погодя ко мне зашёл Волчков, пытливо глянул на моё пунцовое лицо.

– Что, Нехорошев в друзья-приятели набивался?

– Ты его знаешь? – от гнева голос мой всё ещё прерывался.

– Знаю, конечно, он и ко мне подкатывал. Я, само собой, тебе не советчик, но с ним надо построже, без двусмысленностей и недомолвок. Правда, и ссориться с ним опасно – пакостей он в состоянии подсыпать. Смотри, в общем. Между прочим, он – муж Украинцевой.

– Да ты что-о-о?!

– Да, супруг – второй и законный, дочка у них общая имеется.

Так вот почему Люся Украинцева в последний месяц со мной сквозь зубы разговаривает!.. А эта Фёдоровна тоже... Ну и занесла-забросила меня Судьба-злодейка в коллективчик!

Опять, как и на практике в многотиражке ЗИЛа, вляпался я в историю из-за проклятого «*Бровеносца в потёмках*». Так что, когда настанет великий наградной день и примутся раздавать-навешивать медальки за диссидентские подвиги в глухие *брежние* времена (а до этого дойдёт – можно не сомневаться!), я хотел бы напомнить о себе и потребовать свою законную медальку, ибо по крайней мере дважды *инакомыслил* демонстративно и вслух...

Впрочем, в те дни, когда Лена со вспоротым животом лежала в больнице, а я барахтался в болезненном затяжном запое и вляпывался в непрерывные нервомотательные конфликты – мне было не до шуток, не до ерничанья.

Впору – в петлю головой!

Глава IV

Как я самоубился

1

Насчёт вспоротого живота Лены я не преувеличил.

Когда я привёз её домой, занёс на руках в квартиру и раздел, чтобы отмыть-отпарить её от больничной грязи, я чуть не заплакал. Да что там – чуть! Я и заплакал. Пришлось даже в коридор выскакивать, сушить быстренько дурацкие нервные слёзы. Багровый шрам на детском бледном животике Лены был страшен: так безжалостно, вероятно, уродуют свои животы в последний жизненный миг японские самураи. Сама Лена уже выплакалась, коновалов барановских криворукых даже в чём-то и оправдывала: мол, операция экстренная случилась, хирург дежурный – уставший...

Между прочим, мясник этот настолько уставшим был, что начал резать-полосовать, не дожидаясь полного наркоза – Лена *услышала*, как скальпель проник в её тело, рассёк мышцы: от боли она потеряла сознание и уж потом уплыла в спасительный эфирный сон...

Да зачтётся это испытание ей теперь на том свете!

А между тем, пока Лена приходила в себя, возвращалась к *двигательной* жизни, надо мной грозовые тучи в редакции всё сгущались. Вернее будет сказать: я сам сгущал и клубил эти идиотские тучи. Во-первых, мне всё больше и сильнее выедала плешь газетная казённая рутина. Я хотел писать только о литературе, о театре и кино, о живописи, но все эти темы считались в областной молодёжке как бы мизерными, побочными, второстепенными. Начальство требовало с отдела пропаганды на гора в первую очередь агитации и пропаганды в кристально чистом незамутнённом виде.

Даёшь восторженный отклик молодого рабочего на выступление первого секретаря обкома комсомола! Срочно выдать письмо доярки или скотника о важности политучёбы на ферме! (Напомню: слово «фермер» относилось тогда к забугорной жизни, а фермами называли отделения колхозов и совхозов. В ходу была такая лексическая абракадабра – *молочно-товарная ферма*, МТФ.) Сдать в номер ура-проблемную статью о триумфальном шествии социалистического соревнования среди комсомольско-молодёжных коллективов (КМК) в ходе ударной трудовой вахты в честь приближающегося славного юбилея – 113-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата и великого основателя советского государства Владимира Ильича Ленина!..

Тьфу! Даже сейчас, спустя много лет, в ушах звон, во рту вмиг нарушился *кисотно-щелочной баланс*, о котором мы тогда, без рекламы резино-жевательной, и не подозревали.

Во-вторых же, я ещё и врубился-разобрался, что на квартиру надеяться – смешно и нелепо. Это наивнее, чем ожидать прихода коммунизма через двадцать годиков. Жильё молодёжной газете выделяли-подбрасывали раз в сто лет, и первым претендентом числился, естественно, Саша Кабанов. Да и Ося Запоздавников торчал в очереди на квартиру, грозясь вскорости жениться и наплодить потомство.

Короче, так мне всё обрыдло, до того стало тоскливо и тяжело на душе в чужом городе, что я закуролесил. С Осей и Сашей мы скорешились-скорефанились, принялись всерьёз бражничать. Пили, что называется, по-чёрному. Правда, с утрешка ещё чуток сдерживали себя – опохмелялись разве что пивком или стакашком портвеша. Затем отписывались наскоро левой ногой, к обеду сдавали Филькину всякие дежурные информашки-заметушки и тогда уж, смывшись под любым предлогом из душной редакции, принимались за опохмелку всерьёз.

Однажды, когда мы с Осипом, ещё вдвоём, в ожидании Александра, застрявшего с репортажем, подключивали в пивнушке на углу Фридриха и Пролетарской, рядом с редакцией, собутыльника моего мрачно-бородатого потянуло на лирику, на откровенности – рассопливило:

– Эх, Вадя, родный ты мой кореш! Любовь – вот что главное в этом гнусном и заржавленном мире!

Осип пососал вонючую свою трубку, спрятанную от глаз буфетчицы в мощном кулаке, и воспарил дальше:

– Эх, любовь! Тебе, Вадя, этого не понять... Хотя, стоп, чего это я? Прости, Вадим, у тебя же – Ленка... Я и позабыл! Но всё равно: Ленка – это Ленка... А я чего хотел сказать?... Ах, да! Я ж про Дашу хотел сказать... Ты же знаешь Дашу, а?

Я промолчал, притворился к кружке, принялся сосредоточенно глотать отвратную пивную кислятину.

– У нас знаешь, какая с Дашей любовь! О-о-о! Вот я ей письмо написал, ещё не запечатал. Вот, слушай...

Он выкопал из недр одежды листок, развернул.

– *«Здравствуй, девочка моя кареглазая!..»*

– Не надо! – я прикрыл протезной перчаткой письмо. – Я не читаю чужих писем и не хочу слушать – даже в авторском исполнении. Давай-ка лучше *чайку* ещё хлебнём.

Я достал из дипломата уже ополовиненную бутылку наливки «Чайной», плеснул в стакан. Вокруг орала, икала, блевала, кашляла и матюгалась барановская пьянь. Дышать было совершенно нечем. Дым стоял коромыслом, хотя на облупленной стене гадюшника висела табличка-указатель с переречённой сигаретой и надписью почему-то по-английски: «NO SMOKING!» Кто бы это здесь понимал по-забугорному? Осип глотал хмельной кисель, кадык его ходил ходуном, на смоляную бороду проливалась тягучая струйка.

Дебил! Лезет тут со своей любовью, бережит душу и совесть!

И вдруг, когда я втягивал в пищевод свою порцию припорной отравы производства местного ликероводочного за-

вода, я уравновесился, отыскал точку опоры в чудной и похабной мысли: а что, если этот Ося-медведь с моей Еленой трахался? А чего – теоретически вполне возможно, так что нечего выворачиваться и комплексовать: всё в мире взаимосвязано и взаимозаменяемо...

Не успел я додумать парадоксально-пьяную мысль до конца, как нарисовался в кабаке Пушкин. Мы раскупорили вторую бутылку «Чайной» и – понеслось-поехало...

Перед Новым годом я совершил прогул – именно так, с ударением на первом слоге, называл это страшное дисциплинарное преступление Филькин. На самом деле никакого прогула и даже прогула я не совершал. Я всего лишь хорошо опохмелился с утра и неосторожно переборщил. Подумал: ну, чего я попрусь на службу – принюхивания Помидора терпеть да гримасы девицы Перепелицыной? Я позвонил из автомата Волчкову: так, мол, и так – я ещё не отгулял тот донорский свободный день-отгул за ноябрь, так что решил его сегодня использовать.

– Ой, смотри, Вадим, – предупредил Андрей, – нарываешься: начальство наше демаршей таких не любит.

– Да пошли они к едрене Фене!

Увы, ни к какой Фене ответсек с редакторшей не пошли и идти не собирались – это я сообразил уже потом, после, изрядно протрезвев и подрастеряв напускной кураж. Да и Лена вгрызлась безжалостно в мою печёнку: выгонят с работы!.. О квартире забудь тогда!..

И я сделал финт: отправился сразу после новогодних праздников к врачу-терапевту и сдался ему на милость. Впрочем, у меня и вправду уже всерьёз забастовало-завыпендривалось к тому времени всё желудочно-кишечное хозяйство: достаточно уже выхлебал я мыльного пива, ликёрной эссенции, опилочной водки, портвейна да вермута из гнилых червивых яблок...

С моей хиловатой конституцией я уже понюхал до этого в жизни больничной атмосферы. Поэтому я, конечно, не обрадовался, а лишь облегчённо вздохнул, когда врачиха предложила мне залечь на месяц в стационар. И как же я был приятно удивлён уже в первый день обитания в 4-й областной лечебнице. Пижаму выдали не рваную и не застиранную, постельное бельё – без пятен, светлая и просторная палата всего на три койки, возле каждой – тумбочка, сигнальная кнопка и светильник. А уж кормёжка!.. На завтрак помимо каши рисовой с маслом ещё и к чаю бутерброд с маслом и чёрной икрой, а на обед – натуральное мясо и в первом, и во втором...

Я, разумеется, предполагал, что удивлюсь (Лена меня предупреждала), но не ожидал, что – до такой степени. Всё объяснялось магическим номером этой спецбольницы, стоящей в глубине парка в лучшем – Ленинском – районе города. Этот номер указывал на её принадлежность к таинственному 4-му управлению Минздрава. Короче, лечебница сия обслуживала лишь элиту – барановских *слуг народа*: партийных,

советских, комсомольских, профсоюзных вождей; а также и службу этих слуг – милицию, КГБ, журналистов, писателей и прочую охранную и идеологическую шалупонь.

Более того, как я уже потом узнал-разобрался, на больничных картах каждого болящего стояла римская цифра – I, II или III. Пациентов третьего сорта, таких, как я, запикивали в трёхместные палаты: второго – в двухместные; первого – в отдельные. А имелись ещё и две-три палаты люкс, каковые хранились в пустоте и закрытости для самых-самых партийно-советских паханов, брежневых и косыгиных областного калибра.

Однако ж пошибче, чем больнично-коммунистической обстановке, поразился – но неприятно поразился – я соседству по койкам. Один из сопалатников оказался инструкторишкой райкомовским из Сосновки, что ли, зато второй, слева у окна, своей улыбочкой корябнул меня как пилой – Нехорошев Аристарх Маркович собственной белобрысой персоной. Яззу, подлец, растревожил неустанной нервонапрягательной службой.

То-то его давненько в Доме печати не видать было!

Я так с ним до конца и не расплевался, лишь упорно уклонялся от доверительных бесед. Проклятая моя воспитанность и псевдоинтеллигентность – ненужный дар предков – мешают мне в отношениях с такими склизкими персонами резко расставлять точки над *i*, переставать с ними здороваться.

Но, надо признать, здесь, в больничной скукотной обстановке, Нехорошев мне искренне – это было видно – обрадовался. Да поначалу и я принялся с ним болтать-общаться. Инструктор сосновский чокнулся совершенно на конспектировании Ленина, шуршал целыми днями страницами синих кирпичей, выколупывал оттуда бессмертные мысли пролетарского гения в общую коленкоровую тетрадь – готовился поступать в Высшую партшколу. В общие беседы он не вступал.

Так что болтали мы вдвоём и, что удивительно, Аристарх этот Маркович оказался далеко не так глуп, как прикидывался, и даже весьма начитан. По крайней мере, о литературе в основном у нас и шла речь. Он читывал, допустим, Анатолия Кима, Владимира Маканина, Фазиля Искандера, Франсуаза Саган, Генриха Бёлля и даже Джона Апдайка. Мало того, Нехорошев упоминал в разговоре и вовсе экзотические для Баранова имена – Ключева, Платонова, Кобо Абэ, Кортасара...

Правда, и выводы-суждения его зачастую ставили меня в тупик. Он, к примеру, всерьёз, без улыбки, считал Юлиана Семёнова гениальным писателем и живым классиком, а роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова – графоманским пасквилем на советскую действительность. Неудивительно, что наши салонно-палатные беседы с ним начали всё чаще заходить в тупик. Насчёт булгаковского романа я ещё полез в бутылку, принялся было спорить, но вот насчёт

«Архипелага ГУЛАГ» тут же и вовремя прикусил язык: мол, «Один день Ивана Денисовича» видел то ли в «Огоньке», то ли в «Роман-газете», а больше никогда и ничего Солженицына не читал.

– Ну, а «Собачье сердце», к примеру, как вам? – спросил как бы между прочим мой язва визави.

– Это тоже Солженицына? – скорчил я дебилскую рожу, хотя полуслепая ксерокопия запретной повести Михаила Афанасьевича читалась-зачитывалась в московском ДА-Се до дыр. И не только она: и «Багровый остров», и «Роковые яйца», и «Дьяволиада»...

– Да нет, не Солженицына... – усмешливо скривился Аристарх. – Ну, а вот как ты, Вадим, к авангарду относишься? Ты же ведь, насколько я знаю, – реалист, поклонник классики?

Нехорошев то и дело перескакивал в общении на *ты*, хотя я подчёркнуто и упорно ему выкал.

– Да, – не стал отрицать я, – к авангарду, к ярому модерну в литературе я отношусь *нормально* – терпеть его не могу. Беда этих андерграундистов всяких в том, что они не умеют просто говорить о сложном, и почему-то этим гордятся. Эту так называемую элитарную псевдолитературу можно сравнить с сыром рокфор: едят немногие, кушают манерно и ставят своим извращённым вкусом нормальных людей в тупик.

– Вот правильно! – обрадовался домпечатовский куратор. – Это всё буржуазные отрывки. Наш человек рокфор вонючий есть не станет и не хочет. Я бы этих извращенцев

всех... Эх! – он выразительно крутанул сжатым кулаком. – А кстати, Вадим, этот твой Волчков – ведь махровый авангардист. Он, как я слышал, докатился – даже палиндромы сочиняет. Правда?

Эге, так вон ты куда!.. Я неопределённо пожал плечами.

– Нет, эти палиндромисты-онанисты дrochenые копают исподтишка, да глубоко! Говорят, этот Волчков какой-то «Колледж абракадабры» создаёт, полуподпольную организацию поэтов-модернистов – правда?

– Не слышал, не знаю, – буркнул я.

– Ну, как же, разве вы, два поэта, о поэзии, о литературе не говорите? – длинно усмехнулся Нехорошев, засматривая мне в глаза.

Я разозлился, вспыхнул: и чего я, в самом деле, перед ним виляю? Да пошёл он, чекист занюханный, к разэтакой матери! Я прямо глянул в его буравчики.

– Вот что, Аристарх Маркович, я твёрдо считаю: в литературе, в творчестве каждый проявляет себя так, как он считает нужным и может. Я лично убеждён, что читатель достоин уважения, а Волчкову на читателя начихать. Но это его, Андрея, тоже личное дело и его личная беда. И вообще, – я всё повышал и взвинчивал голос, стискивая правую руку в кулак. – И вообще, Аристарх Маркович, раз и навсегда: я вам в ваших делах не помощник. Отрабатывайте ваше жалованье в другом месте!

И я, не дожидаясь ответа, выскочил из палаты как раз на-

встречу инструктору-ленинцу. Тот даже шарахнулся в сторону. Чёрт, с этим Аристархом допытливым не только гастрит не подсушишь, но и язву, чего доброго, прокультивируешь! Известно же: все болезни – от нервов; только триппер да сифилис – от удовольствия.

Через три дня Нехорошева выписали. Расстались мы с ним натянуто. А потом, когда я подлечился и вырвался из больницы, повыскакивали вдруг в судьбе моей такие изменения и потрясения одно за другим, что мне и вовсе стало не до этого филёра.

Пошёл он!..

2

И других забот хватало.

В первый же день, как я появился на работе, по настоянию Филькина собрался верховный суд редакции – редколлегия. Судить старшего корреспондента отдела пропаганды Неустроева за *прогул* 31-го декабря прошедшего года. Старшим я стал только что, в ноябре, за успехи во внутриведомственном социальном соревновании: как-то так получалось – почти каждый мой крупный материал признавался на летучках лучшим за неделю.

Так вот, страстей особых на заседании редколлегии не разгорелось. Метал громы и молнии Помидор, произнесла

спич во славу строжайшей дисциплины девица Перепелицына, пропела-проквкала что-то о зазнавшихся вчерашних студентах завписьмами Люся Украинцева, осудил разболтанную молодёжь ветеран Шестёркин. За меня попробовал вступиться Андрей Волчков, но так как красноречием не обладал, в устной прозе, как и в стихах, был косноязычен, то глас его справедливый пропал втуне. В результате подавляющим большинством голосов утвердили вердикт: Неустроева Вадима Николаевича за злостное нарушение производственной дисциплины понизить в звании до простого корреспондента сроком на три месяца, то есть уменьшить его оклад на двадцать полновесных рублей.

В ответном слове, которое мне никто не давал, я успел выкрикнуть, что я плевал на их дурацкое решение, что у меня есть донорская справка на два дня отгульных, что я не помру без этих паршивых двух десятков, что пусть Филькин ими подавится и что, наконец, я обращусь в международный суд в Гааге, каковой и отменит их шизодебильное решение...

Одним словом, я был взбешён до глупости. И дело – вот именно – не в двадцатке, которую я всегда гонораром мог перекрыть, а бесила вот эта их тупая уверенность-убеждённость, что они правы, что они имеют право судить, что они взялись без спросу в какой-то мере решать мою Судьбу и определять мой статус.

Я выскочил из редакторского кабинета – мне что-то взвизгнуло вслед Филькин, но я лишь шибче саданул дверью.

На порыве, нимало не медля и даже не заглянув к Лене, я вихрем промчал два лестничных марша вниз и торкнулся в приёмную редактора областной партийной газеты. Где-то, видимо, в потаённой кладовочке мозга хранилась-лелеялась эта мысль: в патовой ситуации попроситься в «Барановскую правду». Расчёт был на парадокс: *так* в эту газету ещё никто не приходил, и, может, неожиданность, нестандартность ситуации сыграет свою роль. Тем более, я уже в этой местной «Правде» опубликовал три-четыре обширных корреспонденции и два стихотворения.

Секретарша меня остановила: редактор занят. Делать нечего, я вышел обратно в коридор, сожалея, что запал мой может утихомириться-угаснуть. Рядом с дверью редакторского кабинета на стене висел громаднейший стенд «Лучшие материалы». Он был густо, сплошь улеплен вырезками, полосами и даже целыми номерами «Барановской правды». Я, чтобы не торчать просто так в коридоре истуканом, принялся машинально смотреть-читать.

Самым талантливым, судя по всему, в этой газете числился-считался журналист с гоголевской фамилией – Голопушенко, который подписывался странно: *«обозреватель “Барановской правды”, бывший собкор журнала “Картофель и овощи” по Крайнему Северу»*. Буквально каждый третий из вывешенных шедевров был его. Я вспомнил курьёзный случай, как ещё по осени раскрыл однажды на столе «Барановскую правду», и тут на газету села муха, поползала, попол-

зала по громадной статье Голопуценко и вдруг – брыкнулась
кверху лапками и сдохла.

Вот и теперь я, пробежав глазами пару абзацев свеже-
го творения бывшего картофельного собкора под названием
«*Учите жизнь по словарям!*», прямо-таки явственно услы-
шал старческое шамканье. Да-а, уж если этот дряхлый гриб
со своей скукомотиной у них котируется, то уж я как-нибудь
справлюсь.

В это время секретарша выпорхнула из дверей и процо-
кала куда-то вверх по лестнице. Я решил: а, была не была!
Да и обычно секретарши врут про занятость своих боссов,
оберегая их покой. Я вошёл в предбанник, потревожил од-
ну дверь в редакторский кабинет, вторую, шагнул вовнутрь,
хотел спросить: «Можно?», – и подавился. Все мои планы в
единый миг рухнули. Я совсем забыл про Горелого, зама, а
он-то как раз и пребывал в кабинете у редактора.

Этот человек с невзрачной внешностью седого хорька и
фамилией, похожей на воровскую кличку, меня вдруг и люто
невзлюбил. А, казалось бы, – с чего? Просто мне кто-то и
как-то сказал: мол, Горелый к твоей Елене липнет – шуточки
сальные, прикосновения-объятия невзначай при встречах в
коридоре, приглашения на чай... Я искренне удивился:

– Он что, этот старпер, надеется-рассчитывает *любить*
глазами, а спускать носом?

Ему передали. Старикан рассвирепел и теперь на нюх ме-
ня терпеть не мог. А если учесть, что Горелый – подлин-

ный хозяин-вождь в редакции, серый кардинал, редактор же только подписывает газету да обжимается с секретаршей, то... Кстати, я вспомнил опять-таки, – и материал мой последний в «Барановскую правду» на столе у зама без движения лежит, и подборка стихов моих здесь же застряла-упокоилась напрочь.

Узрев Горелого, я невольно ойкнул, они с редактором уставились на меня, я подался назад, прихлопнул двери и, сплюнув с досады, побрёл в свои родные и враждебные мне комсомольско-флажковские пенаты.

Чёр-р-рт, ну ни в чём нет везения!

Однако ж истерический запал мой начал притухать, да к тому же меня перехватил на лестнице Саша Пушкин.

– Где же ты пропал? Мы с Осей всё приготовили – ждём тебя. Ну, что – строгач?

– В рядовые разжаловали, – усмехнулся я. – Да ну их!

Через минуту мы закрылись в фотолаборатории у Юры – она находилась на чужой территории, на 6-м этаже, далеко от сатанинского взгляда Перепелицыной и бесовских гляделок Филькина. И – устроили заседание малой редколлегии с полноправным участием «Рябины на коньяке» и бутылочного «Жигулёвского».

Правда, поначалу я было замахал руками: мол, вы что, ребята, я же только-только из больницы – врач строгойше запретил употреблять. Ося, Саша и Юра тут же разбили в пух и прах мои аргументы: во-первых, сказали они хором и

вразнобой, врачи всем без разбора запрещают употреблять – за что им и деньги платят; а во-вторых, ты же подлечил желудок, так что теперь он выдержит безболезненно граммов 250-300...

Что ж – резонно!

Я принял первые 125 капель взбодрительной жидкости – сразу стало легче. Ах, и прав был Коля, сын покойного Алёши, воскликнув ещё в прошлом веке, вероятно, с большого бодуна:

*Не водись-ка на свете вина –
Тошен был бы мне свет.
И, кто знает – силён сатана! –
Натворил бы я бед...*

А потом и Лена потрудились-поработала, провела свою внутрисемейную агитацию и пропаганду: квартира, мол, квартира и ещё раз квартира! Согнись, ужмись и терпи.

И я согнулся и ужася – принялся опять агитировать барановскую молодёжь, возжигать её сердца на великие коммунистические свершения. Иногда удавалось написать что-нибудь и для души. Увлёкся я, например, всерьёз критикой, припомнив практику в «Лит. России», взялся читать и рецензировать местных Пушкиных да Гончаровых и попутно, следуя методу неистового Виссариона, проталкивал в критических статьях свои заветные думы-мысли о текущей серой действительности. Продолжал я пописывать от случая к слу-

чаю – по вдохновению – и стихи, складывая их в стол, всё ещё надеясь издать когда-нибудь собственную книжицу.

Между тем, Судьба решила погладить меня по голове, приласкать. Шестерёнки неведомые в механизме жизни крутились-раскручивались, сцеплялись-расцеплялись, и в результате на мой билет выпал крупный выигрыш. Дело в том, что Осип Запоздавников вдруг, уже по весне, затосковал-замаялся и сорвался на выходные в Воронеж, да, видно, вкусив там хмельного любовного счастья со своей Дарьей с перебором, он позабыл про всё и объявился в Баранове лишь посреди недели. Беспощадный Филькин добился своего: Осю из редакции областной молодёжки турнули, правда – по собственному. Он вынужденно перебрался на 7-й этаж Дома печати, в газету Барановского района «Вперёд к коммунизму».

А вскоре Саша Кабанов, уйдя в отпуск, сам отыскал себе в сосновской районке место замредактора с трёхкомнатной квартирой, так что уволился из опостылевшего «Флажка» в один момент. И – надо же такому случиться! – чуть не на следующий день редакции «Комсомольского вымпела» в кои веки подбрасывают наконец шикарную однокомнатную квартиру в самом центре города. И как ни кривился, ни дёргался Филькин, а профком редакции просто-напросто вынужден был подарить-отдать квартиру корреспондентской чете Неустроевых.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.